

Дело № 3398 „ГИЗ“.

Этот номер Гос. изд. Бюро... 16/II
на акк. ...
...
... 1937.

С.Т. СЕМЕНОВ

В ДЕРЕВНЕ

РАССКАЗЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

C
18894

26838

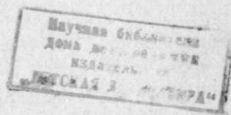
С. Т. СЕМЕНОВ

С302

В ДЕРЕВНЕ

РАССКАЗЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД



255366

Гиз. № 3398.

Главлит. № 3654. Москва.

6.000 экз.

Типо-Лит. Т-ва „Печатня Яковлева“, аренд. 30 тип. М. С. Н. Х.
Петровка, Салтыковский пер., д. № 9.

Мишуткино добро.

I.

Мишутка был из крестьянской семьи, родился в деревне и рос там до четырех лет, но вот уже семь лет прошло, как его отец вытребовал вместе с матерью в Москву, где он жил с малолетства, и держал их около себя.

Отец Мишутки служил приказчиком в одном торговом месте и зарабатывал, должно быть, много, так как жизнь их шла очень весело. Квартиру они занимали небольшую, но светлую, в две комнаты: в одной была широкая постель отца с матерью, раскладной стол, за которым обедали и пили чай, комод с разными вещами и бельем; в другой комнате была русская печь, тоже стол, на котором по праздникам мать сучила лапшу и делала пирожки, шкаф с одеждой и небольшой диван, на котором спал Мишутка. Жили они весело, крепко спали, сытно ели, пили чай, сколько хотелось; за чаем всегда был белый хлеб, нередко подавалось варенье или мед. Отец каждый день от девяти часов до пяти находился в лавке, мать знала одну стряпню, а Мишутка почти ничего не делал; он только еще одну зиму учился грамоте и то в младшем отделении, где занимались всего три часа в день; остальное время Мишутка пил, ел, спал, бегал с товарищами по двору и переулку. Такая жизнь очень нравилась и Мишутке, и его отцу, и его матери. Отец с матерью часто, сидя за чаем или обедом, говорили:

— Экая благодать у нас, а в деревне теперь, небось, нечищенный картофель едят.

— А хлеб-то разве московскому чета: на него и глядеть-то страшно.

Летом обыкновенно говорили:

— Работают теперь в деревне с утра до ночи не покладая рук.

— Жара, духота, питье одно заморит.

Никогда никаким добром, ни одним хорошим словом не поминали они деревню.

Мишутка помнил деревню смутно: вспоминались ему иногда тесная темная избушка, свет лучины, дым и чад от этого освещения, сморщенное лицо старушки-бабушки, ее удушливый кашель; представлялось ему еще кое-что, но все это так туманно, неясно и смутно, так что Мишутка ничего определить не мог, О возврате в деревню никто не думал, — ни отец, ни мать, ни Мишутка. Отец совсем сделался городским человеком. Второй год он уже носил и брюки на выпуск и подстригал бороду по моде. Лицо матери тоже мало стало похоже на деревенское: оно было белое, как хороший калач, и вся она порядком растолстела. У них уж, как видно, накопились деньжонки, и они поговаривали о том, что бы им такое сделать, чтобы на эти деньги нажить еще деньги.

II.

Один раз отец пришел из лавки очень веселый и заявил, что он отправляется на Нижегородскую ярмарку за старшего приказчика, который отпросился в отпуск, а это значит, что он может завести в Нижнем хорошее знакомство с торговыми людьми, приглядеть там, нельзя ли ему что-нибудь сделать со своими деньгами. Когда он отправлялся в Нижний, то обещал своим привезти много разных гостинцев и подарков и расстался с родными бодрый и радостный. Через некоторое время он прислал письмо, в котором писал, что он жив-здоров и что хозяйские дела ведет хорошо и, кроме этого, присмотрел для себя партию редкого в Москве товара у каких-то персиян, за который просят три тысячи и за который, на плохой конец, можно выручить в Москве пять, а так как у него своих денег всего было две тысячи, то он хотел добавить одну из хозяйских; а потом, когда продаст товар, то вернет эту тысячу хозяину, а барыш оставит себе. „Молите бога, — писал отец, —

чтобы он помог мне оборудовать это дело, и тогда мы будем жить лучше, чем теперь живем, и, может быть, в скором времени станем сами хозяевами". Мать, услышав это, вздохнула; а Мишутка подумал: „Что если это сбудется; тогда, очень просто, тятенька будет давать на завтрак в школу не три копейки, а гривенник, а на эти деньги можно не одни розанчики покупать, а что-нибудь и еще". И ему стало так весело, что он готов был запрыгать.

III.

Но не все предположения удаются, как люди надеются. Отец купил партию редкого товара; об этом он заявил, как только приехал с ярмарки. Но он был очень озабочен. На отправку товара по железной дороге и на извозчиков он издержал все, что имел, до копейки; а теперь еще нужно было пристроить товар, нанять помещение, выправить торговое свидетельство и подыскать человека, который бы караулил и продавал товар, так как хозяин, обидевшись, что он самовольно распорядился его деньгами, заявил отцу, что не дозволит ему кое-как исполнять свои обязанности и даже не дал подарка, который, обыкновенно давал приказчикам, возвращавшимся с ярмарки, не выдал и жалованья, отчего отец и очутился совсем без денег. Он взял все, что было у жены, выбрал из копилки у Мишутки, занял даже у квартирного хозяина и отправился устраивать свои дела.

В этот день он домой не пришел, на другой день тоже, на третий день явился бледный, похудевший, с потухшими глазами и, как вошел в квартиру, так и опустился, не раздеваясь, на диван, где спал Мишутка. На тревожный вопрос жены: „Что с ним? он упавшим голосом проговорил: „Все пропало!" и залился горькими слезами.

Жена заревела, Мишутка испуганно поглядел на них и, в свою очередь, заплакал. Жена стала расспрашивать, что случилось. Отец, превозмогши слезы, стал рассказывать.

Оказалось, персияне его обманули; товар при продаже показывали хороший, а отпустили гнилой и совсем негод-

ный; за него не только ничего не получишь барыша, но не выручишь даже тех денег, которые истрачены на перевозку. Отец хотел сначала разыскать продавцов и завести с ними суд, но искать их было нигде; он не знал даже, из какого они города; чтобы найти их, нужно было положить много хлопот, потратить не мало времени и денег, а ни того, ни другого теперь у него не было.

Погоревав дома, отец побежал к хозяину с повинной. Вернулся он поздно и еще больше расстроенный. Хозяин его страшно бранил за то, что он так необдуманно поступил. А насчет того, чтобы получить свои деньги, он потребовал, чтобы отец получал только половину следуемого ему жалованья, а половину оставлял в уплату долга. Приходилось не получать половины жалованья года три. Хоть это и трудно было отцу, но он должен был согласиться.

IV.

Стали советоваться, как им жить теперь. Оставаться всем в Москве на половинном жалованьи было немислимо: после той жизни, какую они вели до тех пор, им пришлось бы жить впроголодь, а это всем было тяжело, особенно в том месте, где все напоминало о прежнем благополучии. Тогда отец вспомнил про деревню и предложил матери с Мишуткой ехать туда и там пробыть то время, пока он выплатит хозяину долг. Мать на это согласилась, но тотчас же разрыдалась и, схватив Мишутку за голову, притянула его к себе и начала причитать:

— Сынок ты мой милый, сокол ты мой ясный! Отошли твои красные денечки, закатилось твое солнце красное, отжил ты в счастье и в радости, наступает жизнь в горе и неволе. Не будет тебе теперь постелюшки мягонькой, хлебушка беленького, калачика тепленького, вареньица сладенького... Станем мы есть теперь черствый хлеб да запивать жидким квасом, спать на голых досках, одеваться в худое да грязное... Пропадет румянец на твоём белом лице, заскорузнут твои рученьки, ноженьки, переменишься ты в один год, — не узнать тебя, моего сокола, отцу-тятеньке.

Отец уговаривал плакавшую мать, но и сам плакал в три ручья; рыдал горько и Мишутка.

Наконец мало-по-малу они успокоились, стали выбираться из квартиры, много вещей продали, много заложили, собрали несколько денег, часть взял себе отец, часть взяла мать с Мишуткой, потом распростились со всеми знакомыми, отправились на вокзал, сели в вагон, поезд тронулся, и они поехали в деревню...



V.

Мишутка не осушал глаз, когда ехал по Москве к вокзалу и когда выезжал из Москвы. „Значит, прощай все!“ — не покидала его горькая дума: — и житье-бытье московское, и друзья-товарищи, и училище, — все, все, что ему казалось таким хорошим, таким радостным... Сколько веселых дней

он провел тут! Бывало, когда он еще не учился, встанет только тогда, когда досыта выпитися, напьется чаю, съест калачик и пойдет гулять на двор. А на дворе в это время уже все товарищи: и Митюшка столяров, летом с велосипедом, а зимой с саночками, и Герман, сын приказчика с пивного завода, и Липочка с сестренкой Маней—дочери домового хозяина. Начнут они играть; летом то в лошадки, то в палочку, зимой кататься или в снежки, а то выбегут за ворота, играют и на улице; едет порожняк-извозчик, видят,—задремал немножко, сейчас к нему на запятки,—проедут шагов десять, соскочат, станут другого выжидать, а на порожних ломовиках и дольше едут. Правда, иной раз за это и „влетало“, ну,—зато покатаешься хорошо. А один раз Мишутка к проезжей карете на рессоры вскочил и проехал бог знает сколько; только он уселся и уцепился за рессоры, как кучер, точно того и ждал, как ударит по лошадам и пошел так шибко, что у Мишутки чуть душу не вытрясло, он и соскочить хотел бы, да страшно на полном ходу спрыгивать. На его счастье попался навстречу обоз, кучер сдержал лошадей, и Мишутка спрыгнул. И бежал же Мишутка домой! Он думал, что ему и дороги не найти.

А хождение в гости с тятенькой и маменькой, а игра в пристенок, перышками, которой он научился прошлой зимой, когда ходил в школу, — ничего этого теперь не будет, как не будет мягких розанчиков или калачей к чаю, жирных щей и каши, пирогов по праздникам и сладкого супа постом, — со всем этим нужно будет распрощаться и лучше не вспоминать...

VI.

И в вагоне ничто не развлекало Мишутку; он никак не мог отделаться от давивших его воспоминаний и только вздыхал. Мать его молча тихо всхлипывала, и лишь к вечеру они оба мало-по-малу начали успокаиваться. Мишутка вскоре заснул и проспал половину дороги. Когда он проснулся, на душе его было легче и думы несколько светлее: он выглянул в окно и начал смотреть на поля, леса и деревни.

— Маменька, что это? — спрашивал Мишутка, увидав копну ржаных снопов и гумна какой-то деревни.

Мать объяснила ему.

— А это что? — указывал он на черневшую в огороде коноплю.

Мать опять объяснила.

— А вот это, что дорожками-то настелено?

— Это лен.

— Какой лен?

— А вот из чего пряжу прядут, холсты ткут.

— Так это все холсты лежат?

— Нет, это лен лежит.

Мать рассказывала ему, что такое лен, как он растет, и что с ним делают для того, чтобы получить пряжу и холсты. Мишутке это все было любопытно, тем более, что мать все очень хорошо объясняла. В Москве, бывало, идут они или едут куда по улице, заглянется Мишутка на какое-нибудь здание, спросит: маменька, что это? — а она ему: не знаю; — или попадется ему какой-нибудь незнакомый предмет: маменька, из чего это? Опять — не знаю; и чаще всего Мишутка получал такие ответы. Теперь же мать не говорит — не знаю, а рассказывает и объясняет, так как все, что ему неизвестно, она хорошо знает, и это радует Мишутку.

— Ах, как бы все это поближе поглядеть! — воскликнул он.

— Вот приедешь в деревню, увидишь.

К концу дороги Мишутка мало-по-малу примирился с мыслью о житье в деревне, и она уже ему стала казаться не такую страшную.

VII.

Родные по отцу, дедушка с бабушкой, померли давно, и отец Мишутки после них прикончил все „обзаведение“ и теперь отправлял жену с сыном к тестю с тещей. Этих дедушку с бабушкой Мишутка и вспомнить не мог. Он спрашивал дорогой мать, как они живут, и какие из себя дедушка с бабушкой — старые ли они, сердитые ли; матери даже надоело отвечать на его вопросы, и она чуть не с сердцем проговорила;

— Да перестань, что не дело болтать — надоело! Вот приедешь, сам увидишь.

На станцию приехали на другой день утром; день был пасмурный, с неба сыпал мелкий дождь, дорога ослизла, а

в низких местах разгрязнилась; молодая озимь была вся унизана серебристыми каплями воды. Мужик, везший Мишутку с матерью, говорил:

— Эка незадача-то: лен на стлище улежался! Думал: ведро будет, хотел денька на два оставить, — а по делу-то выходит, лучше бы снять. Что ты будешь делать...

И он повторил это раз десять. И эти однообразные речи, и ненастная погода, и неизвестность будущего опять так настроили Мишутку с матерью, что всякие разговоры между ними прикончились, и они тоскливо, чуть не плача, глядели по сторонам.

Наконец, вот и деревня, где родилась мать Мишутки, и где они теперь будут жить. Когда они въехали в узкую улицу с одним посадом изб, то улица была пуста, пусто было и у двора Мишуткина дедушки. Двор был не особенно плох, но и не из хороших: изба уже старая, в углах подгнившая, стекла в окнах некоторые были составные, ступеньки на крыльце покривившиеся. Мишутке сделалось еще тоскливее при взгляде на такое убогое, как ему казалось после московского, жилище.

Навстречу приезжим выскочили: сам старик, отец матери, дедушка Мишутки, а за ним потом молодая краснощекая, в линючем платке и в холщевой юбке, баба, невестка старика. Оба бросились целовать мать и Мишутку. Мишутка хоть от поцелуев не отвертывался, но целовался холодно; душу его мучила жгучая скорбь, и ему хотелось плакать.

— Идите, идите в избу-то, родимые мои, вы, чай, промокли! — ласково говорил старик. — Идите, обогревайтесь скорей!..

Они вошли в избу; в избе было темно, окна слабо пропустили свет, стены были коричневого цвета, пол грязный, ни обоев, ни картин; вместо стульев — лавки. В избе Мишутку с матерью встретили: бабушка, довольно еще свежая старуха, белокурый востроносый мужик, сын их, брат Мишуткиной матери; и мальчик лет двенадцати, Ванька, сын этого мужика. Все они осыпали приезжих ласкою и нежными именами, помогли им раздеться, усадили на лавку и засуетились, готовя угощение.

VIII.

Когда отпили чай, Ванька мигнул Мишутке левым глазом, и они вылезли из-за стола и сейчас же побежали на улицу. Ванька повел Мишутку на огород и стал показывать, что у них тут есть.

Огород был позади двора. Сейчас же за двором был небольшой садик; несколько кустов крыжовника, малины и три больших почти диких яблони, на которых кое-где, в верхних ветвях, видны были яблоки; дальше тянулись гряды и на них были посажены: морковь, редька, капуста, репа; вились, как веревочки, почерневшие плети огурцов, торчал на тычинках горох и покачивал от легкого ветерка своими поседевшими головками спелый мак. Ванька угостил Мишутку морковью и маком и спросил, есть ли у них в Москве мак и морковь. Мишутка сказал, что в Москве продают мак жареный, а такого нет.

— Что ж там у вас и огородов нет?

— Нету.

— Что ж вы не разводите?

— А где же, там все застроено... а если не застроено, то камнем убито.

— Зачем камнем?

— Чтоб мостовая была.

— Какая мостовая?

— Да вот каменная.

— Стало быть, там и колодцев копать негде?

— Негде.

— А мы весной роем; а наемдни пошли в стадо, стали там печки рыть; найдем кочку, выроем в середке печку, трубу выведем, набьем ее палочками да и зажжем.

— Горит?

— Горит. Дым идет в трубу. Гоже, особливо, если сырых сучьев накладешь.

У Мишутки заискрились от удовольствия глаза.

— А сучья-то ломать тут не запрещают?

— Кому ж запрещать? — удивленно спросил Ванька и вытаращил глаза.

— А сторож... в Москве на бульварах сторожа есть, они вот как гоняют.

— У нас нет, тут хошь вырой какое дерево и то никто ничего не скажет.

— Как вырой, на что?

— А сажать... Эна, на проулке две березки стоят, это мы с тяткой посадили летось, в сев яровой; а вон смородину я один из леса принес, пойдем поглядим.

И Ванька потащил Мишутку к смородине; в садике рос небольшой куст черной смородины, листья с него опали, и кверху торчали толстые молодые побеги.

— Эва, что за лето выросло, и уж ягода была кру-у-пная, черная! — сказал Ванька.

Мишутка промолчал, сердце его трепетало. Деревенское житье ему открывалось не таким жалким и бедным радостями и удовольствиями, каким он представлял его по рассказам отца и матери; ему чуялось, что и тут много хорошего. Вот огород, сад, все свое; нет ни сторожей, ни запрета, есть где погулять, сколько хочешь; можно вырыть в лесу и посадить дерево, можно что угодно вырастить. И на Мишутку вдруг нахлынуло такое неудержимое веселье, что он звонко засмеялся.

— Вот хорошо, так хорошо! — воскликнул он и даже подпрыгнул на месте.

— А ты лес наш не знаешь? — спросил Ванька.

— Нет, не знаю.

— Побежим, коли хошь, в него.

— Побежим.

Мальчики побежали в лес.

IX.

Для Мишутки началась новая жизнь. Он уже не спал, как в Москве, до восьми часов, а вскакивал в шесть и бежал в овин, где в это время дедушка, дядя с теткой и Ванька молотили; по гумну были разостланы дорожкой в два ряда снопы, колосьями вместе, и они по ним колотили цепями, колотили мерно, по-очереди. Стук выходил очень складный. Мишутке вспомнилась загадка, вычитанная в прошлом году в одной книжке в школе: „Летят гуськи, дубовые носки, летят и говорят: то-то мы, то-то мы“. Мишутка нашел, что это очень похоже, и был этому очень рад;

радостно ему было и то, что его то заставляли ворочать снопы на посаде или резать их, то посылали в сажало выкидывать им снопы оттуда в передовин. Мишутка торопливо хватал в охапку по два или по три теплых, приятно пахнувших снопа и выталкивал их в окно сажала. Большое удовольствие испытывал он по окончании молотбы, когда приходилось ему свозить намолоченные зерна в ворох. Упрутся они с Ванькой в ручку возилки и двигают целую кучу зерен с мякиной до тех пор, пока не свозят все на середину гумна. С каким аппетитом после этого Мишутка садился за стол, ел с черствым хлебом горячий только-что очищенный картофель с солью, без всяких приправ, разве прикусывая соленые огурцы или прихлебывая огуречный рассол с квасом! А с каким удовольствием пил он жиденький чаек! Как ни хорош был московский чай с калачами и розанчиками, но Мишутка ни разу не вспомнил о нем.

Кончится завтрак, Ванька и Мишутка бегут в стадо, обротают лошадь, усядутся на нее оба верхом и едут на ней ко двору; у двора кто-нибудь из больших запряжет лошадь в телегу и едут к овину, свозят солому в сарай и начнут из копны возить снопы на новый овин, а Мишутка с Ванькой подтаскивают эти снопы к сажалу да подкидывают их к деду. Насадит овин дедушка, полезет в теплышко сушить, и Мишутка с Ванькой с ним; напечет им дедушка в горячей золе картошки, сказку расскажет; ребята и сыты, и довольны, и счастливы.

Прошло недели три; нежные руки Мишутки загубели, щечки немного опали, и на белой коже его лица появился темноватый налет, сделавший его как будто смуглым, но глаза его зато стали блестеть такою веселостью и огнем, каких мать его до этого не замечала.

X.

Дни шли за днями, проходила зима, в доме Мишуткина дедушки с бабушкой не произошло никаких перемен; но мать Мишуткина переменилась; она немного постарела и похудела; платье и верхняя одежда стали сидеть на ней как-то мешковато, и ей то-и-дело приходилось подшивать. Она редко была весела, больше скучала и вздыхала, жало-

валась на то, как это время медленно тянется, никак не дождешься, когда пройдут эти несносные три года, когда отец заживет хозяину долг, и им опять можно будет ехать в Москву. Говорила она это и Мишутке, но Мишутка ничего на это не отвечал, да вообще он мало и разговаривал теперь с матерью, а вертелся то около бабушки, то приставал с расспросами к дедушке, а то возился с Ванькой. С Ванькой он очень подружился, — с ним он катался с горы, с ним помогал дедушке убирать скотину (Ванькина отца не было дома, он нанялся на зиму в одну рощу сторожем, взял с собой и жену). Они возили на салазках корм из сарая и ездили на реку за водой, с ним спал вместе на полатях. Ванька не знал грамоте, школа от них была далеко, а в деревне не было охотника учить ребят, и Мишутка выучил его тому, что сам знал, и они часто садились за стол и читали какую-нибудь книжку или писали, или рисовали какие-нибудь неуклюжие фигуры; время проходило для них незаметно, незаметно прокатилась зима, и подошла весна...

— Мишутка, а будешь нонче пахать учиться? — спросил раз товарища Ванька.

У Мишутки загорелись глаза.

— А не хитро это? — спросил он.

— Вот еще, велика хитрость, я летось пахал с тяткой.

— Я бы рад был, — молвил Мишутка.

— Ну, так попроси дедушку; когда пахать поедет, он и возьмет...

— Ладно...

— И за яблонями в лес пойдешь?

— А ты знаешь где?

— Искать будем.

— Еще бы не пошел! Эх, ты, Ванька, да я не дождусь, когда тепло настоящее будет!

— И я, брат, не дождусь, больно на волю тянет.

XI.

На Страстной неделе мать Мишутки получила письмо от отца. Отец писал, что он очень соскучился и ему хочется хоть немного повидаться с ними. Он, было, просил

у хозяина отпустить его на Пасху к ним, но хозяин его не отпустил, а согласился за этот месяц выдать ему жалованье без вычета, чтобы он выписал к себе жену с сыном, а не ездил сам. Отец согласился на это и наказывал, чтобы, по получении письма, мать с Мишуткой немедленно приезжали к нему.

У матери сделалось счастливое лицо, и она при чтении письма не переставала радостно смеяться; когда же кончили письмо, она притянула к себе Мишутку и проговорила:

— Ну, вот, голубчик мой сизый, поедem, хоть недельку поживем тою жизнью, что допреж жили. Рад ты?

Но Мишутка вырвался от матери и насупился.

— Что ты! — удивилась мать, — соколик ты мой!

— Мне не хочется в Москву, я здесь буду, — проговорил Мишутка и чуть не заплакал.

— Да ты с ума сошел, дурак ты этакий? Отец ведь нас в гости к себе зовет.

— Не хочу... все равно... мне лучше здесь...

— Да ведь хозяин отцу денег дал, гляди-ко, как он нас примет-то, под Девичий сведет.

— Ничего я не хочу... я в деревне останусь, — упрямо твердил Мишутка.

Мать ударила руками по бедрам и покачала головой; после некоторого раздумья она проговорила:

— И чего ты упираешься? Словно тебя в кабалу какую хотят отдать, ведь тебе же добра желают.

— Я знаю, что мне добро, не приневоливай меня, — сказал Мишутка.

— А коли знаешь, так оставайся, силой не потяну, я одна поеду, — молвила мать и угрюмо насупила брови.

— Маменька, миленькая! — радостно воскликнул Мишутка и, радостно бросившись на шею матери, принялся ее целовать...

Товарищи.

I.

Гришутка и Федюшка всю зиму были неразлучными товарищами. В праздники играли в бабки, бегали по улице, и только темная ночь разлучала их, когда они уходили каждый в свою избу. На другой день снова они выползали со своих дворов, почти в одно время, и сходились вместе. Если же один запоздает очень, то другой сейчас же бежит к товарищу и тащит его на улицу; а когда тому почему-нибудь нельзя идти, то он около него сидит в избе и ждет, пока товарищу не будет возможности идти с ним.

Такая дружба у Гришутки с Федюшкой завязалась с осени. Отец у Гришутки поехал на мельницу, с ним увязался и Гришутка; отец его, было, не брал, но мальчик плакал: очень хотелось ему видеть, как мелют муку, как работает вода на мельнице. Народу наехало много с зерновым хлебом, пришлось ждать очереди и жить там долго. Гришутка оглядел всю мельницу, узнал все, что его вначале интересовало, и, наконец, от нечего делать, среди незнакомых людей, он заскучал и стал приставать к отцу, — скоро ли поедут они домой. Отец рассердился и прикрикнул; мальчику сделалось еще скучнее.

В эту пору на мельницу приехал Федюшкин отец, с ним был и Федюшка. Гришутка, увидев своего деревенского мальчугана, так обрадовался, что громко взвизгнул и запрыгал.

Сейчас же они побежали к плотине, потом в амбар. Федюшка был на мельнице тоже в первый раз. Гришутка, кое-что узнавший ранее его, стал рассказывать, что он видел; потом они выбежали на лужайку, уселись на траву и занялись разговорами.

Так они провели весь день. Ночью улеглись вместе спать. Когда отец Гришутки смолот свой хлеб и собрался домой, Гришутка уговорил Федюшку ехать с ними домой. Федюшка согласился, и новые приятели на одном возу весело отправились домой.

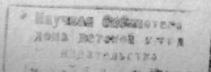
С этих пор они и задружили. Позднею осенью ребяташек, которые были постарше, отправили в училище, в село; мальчонок поменьше реже стали пускать на улицу. Гришутка с Федюшкой остались почти во всей деревне ровесниками, что еще больше их сблизило, и они стали такими друзьями-приятелями, про которых говорят, что их и водой не разольешь.

II.

Прошла зима; наступил Великий пост. Мороз, все время лютовавший и наводивший на землю стужу и суровый холод, с метелями и буранами, как будто устал, начал ослабевать. Заметило это солнце, которое всю зиму боялось как следует гулять по небу, ободрилось, перестало с ранней поры прятаться за лес, стало подольше оставаться на небе, мягче, теплее дышать на скованную холодом землю. От ласковых лучей солнца снег начал рыхлеть и таять, среди улицы и в низинах начали показываться лужицы. Мороз всполошился, — не хотелось ему уступать своей власти над землей, — собрал все силы и начал бороться с солнцем. Но днем он ничего сделать не мог. Солнце не давало ему ни минуты покоя; несмотря на это, ночами, когда солнце уходило на отдых, мороз набрасывался изо всех сил на работу солнца, и что за день оно успело растопить, мороз заковывал крепким льдом, и верхний слой разрыхленного за день снега покрывал таким крепким настом, что лошадь по нем могла ходить, не проваливаясь.

Один раз, когда Гришутка пришел к Федюшке и стал звать его кататься на лыжах по насту, Федюшкин отец сказал:

— Что вам без дела бегать да обувь драть, вы лучше сходили бы в березняк, нарубили прутьев, я бы вам показал, как верши плести. Сойдет вода, поставите верши, может, рыба будет попадаться.



Ребятишки страшно обрадовались этому.

— Пойдем? — сказал Гришутка.

— Пойдем! — согласился Федюшка.

— Сейчас? — спросил Гришутка.

— А чего ж зевать? — молвил Федюшка.

И ребятишки взяли по топору, опоясались веревками и побежали в березняк.

Березняк начинался за овинами. Пока они бежали огородами, наст держал их крепко; но в лесу он был слабее; и они часто стали проваливаться в сугробы и вязнуть в них; но ребята этим не смущались, они весело смеялись и кричали друг другу: „Держись, утонешь!“ Хотя с трудом, но все-таки нарубили они десятка по четыре березовых прутьев, срубили по маленькой елочке на обручи и отправились домой.

Отец Федюшки показал ребятам, как плести верши; они сплели и с нетерпением стали дожидаться того времени, когда можно будет их ставить.

Солнце в борьбе с морозом чем дальше, тем больше набиралось силы и быстрее разрушало ночные труды мороза. На улице во многих местах показалась земля, на буграх и пригорках земля уже за день оттаивала и просыхала. Мороз, озлобленный, обессиленный, сеял иногда мокрым снегом, который покрывал все кругом, но это уже никого не пугало, — люди говорили, что это внучек за дедушкой идет. И действительно, как только показывалось солнце, этот молодой снежок быстро превращался в воду, разрыхлял старый снег, с ревом скатывался с пригорков и настолько наполнял собой ручьи и реку, что лед мало-помалу начал потрескивать, подниматься наверх, наконец, его стало сносить вниз, сначала понемногу, но чем дальше, тем убегал он больше.

Гришутка с Федюшкой прыгали от радости, глядя, как идет лед. Часто они вдвоем или с другими ребятишками бегали по берегу реки и провожали лед. Один раз они вскочили на большую льдину, зацепившуюся одним краем за берег, и начали прыгать на ней; вдруг льдина сползла с берега, и ее медленно понесло вниз; ребята завизжали, — им было весело и жутко. Льдина проплыла шагов двести и снова вползла на берег; они спрыгнули с нее. И хоть это

обошлось благополучно, однако, им за эту смелость досталось порядком от больших.

Когда прошел лед, и вода стала спадать, Гринутка с Федюшкой побежали выбирать место, где ставить верши. Они обежали всю реку, но подходящего места не нашли.

— Где ж нам ставить?—спросил Гринутка.

— Не знаю,—молвил Федюшка.

Они в задумчивости остановились и не знали, что делать. К ним подошел паренек, с топором в руках, в промокшей одежде, видимо только-что ставивший верши.

— Вы что тут, ребята? — спросил паренек.

— Места ищем.

— На верши?

— На верши.

— Я вам укажу одно хорошее место, — пойдемте.

Парень подвел их к небольшому омуту и сказал:

— Вот ставьте здесь, место рыбное. У меня летось тут каждый день попадало. Я бы и нонче поставил здесь, да мне несподручно.

Товарищи стали разглядывать место. Оно, действительно, подходило им. Небольшой омут, — кругленький, глубокий, впереди него большая, длинная, но мелкая заводь, между ними переузинка, на которой легко и удобно можно было установить вершу.

Парень соблазнительно объяснял удобства этого места.

— Пока вода глубокая, рыба-то вот тут живет,—парень показал на передний омут. — А там, как станет мельчать, она назад бросится, — ну, и будет попадать, — тогда только успевай обирать.

У ребят закружились головы и разгорелись глаза от счастья,—ну, как и правда помногу будет попадать. Обоим им очень захотелось захватить это место.

— Чур, я первый поставлю! — воскликнул Гринутка, красный от волнения.

— Нет, я! — сказал Федюшка, тоже не меньше взволнованный.

Гринутку тожню ущипнуло что за сердце, глаза его разгорелись сильнее, и он крикнул:

— Ведь я первый зачурал;

— Мало что, у нас об этом уговору не было.

— Ну, что ж не было, я все-таки первый сказал.

— А я этого не хочу слушать. Давай жеребей кинем!

— Давай!

Взяли они два прутика, один подлиннее, другой покороче, уговорились: кто длинный вытащит, тому и ставить вершу. Прутики выломал Федюшка. Гришутка и за тот, и за другой брался, все приглядывался, какой ему тащить, как бы не ошибиться, наконец, он решительно взялся за один и дернул; прутик его оказался короткий. Гришутка чуть не заплакал от досады. Федюшка торжествовал.

— Ну, вот, видишь, мне и досталось, а ты говоришь: я первый! — крикнул Федюшка и радостно засмеялся.

— А я не хочу жеребью верить. Давай, кто вперед захватит место!

— Ишь, какой ловкий! Нет, уж теперь нечего вертеться, — как сделали, так и будет.

Гришутка, еле сдерживая слезы, отвернулся от товарища и побежал домой.

III.

Гришутка плохо спал ночь, так разгорелись у него зубы на рыбное место. Он все придумывал, как перехватить его, и с вечера хотел поставить вершу, но удержался, потому что этого было сделать нельзя, — так как к вечеру в реке была вода сильна. Он надеялся, что Федюшка по-товарищески раздумает, придет к нему и откажется от места; но Федюшка не приходил, и Гришутке сделалось еще досаднее. Он решил, что завтра утром встанет пораньше и первый захватит хорошее место, и если ему это удется, то поставит там вершу.

И с таким намерением он улегся на полати. Как ни любил он спать и как ни трудно было ему вставать рано, он все-таки на другой день проснулся раньше обыкновенного и стал звать отца поставить ему вершу.

Отец пошел не сразу, он еще принес матери на стряпню воды, задал корму скотине и тогда уже пошел.

Утро было великолепное; солнце выплывало на чистом небе огромным огненным шаром; в воздухе уже сновали первые весенние птички; с реки доносилось журчание воды;

подмороженная за ночь луговина приятно похрустывала под ногами; у отца было веселое, радостное лицо, но Гришутка ничего этого не замечал; его так и тянуло неудержимо к реке—занять поскорее рыбное место,—ему почему-то думалось, что оно еще не занято, и он уже начал с злорадством подумывать:

„Вот захватим вперед место, поставим вершу, пускай он тогда попляшет“.

И ему представлялось уже, как он каждый день выбирает из верши рыбу, и сердце его билось чаще, сильнее, чем всегда.

Вот они у реки; вдруг сердце Гришутки сжалось и в глазах зарябило, — место было уже занято, верша поставлена и захвоена, как следует,—видно, Федюшка был заботливее его. Гришутка чуть не заплакал.

— Ну, где ставить, говори? — весело спросил отец Гришутку.

— Я не знаю, — пролепетал тот, — вот, где мое место было.

— Кто ж его занял?

— Федюшка, должно быть!

— Экий плут! — проворчал отец Гришутки. — Надо другое искать.

И он отправился вниз по реке, облюбовал один омут и стал около него вбивать колья.

Гришутка все еще дулся.

— Я вперед зачурал место, а он захватил! — ворчал Гришутка, и хотя чувствовал, что говорил неправду, но несколько не смущался этим.

— Это не хорошо! — говорил отец. — Ты первый это место выбрал, тебе и ставить нужно, — это не по правилу.

— Выкинуть его вершу, либо корню отрубить, — вот и пушай узнает, — продолжал ворчать Гришутка.

Отец вдруг изменил тон и проговорил:

— Этого нечего и думать, коли он поставил — его счастье, а вершу трогать нельзя.

— Да коли он вон что сделал?

— Брось это дело!.. Ему греха не будет, а тебе будет. Как же это чужие труды разорять! Ты его, а он твой, —

какой толк из этого будет? Если бы все так делали, то и на свете нельзя было бы жить.

Гришутка замолчал, но в сердце у него все еще кипело. Поставили вершу, пошли домой, но Гришутка не радовался и тому, что у него верша стоит, — злоба на Федюшку мутила его душу и затемняла мысли.

IV.

Встреча товарищей после этого была далеко не прежняя. После завтрака выбежал Гришутка на улицу прудить запрудку и увидал Федюшку. Гришутка и глазом не моргнул. Но Федюшка подбежал к нему, как ни в чем не бывало.

— А я вершу уж поставил, — похвастался Федюшка.

— А я у тебя сниму ее, — сказал Гришутка.

Федюшка опешил и изменил тон.

— Только попробуй! — погрозился он.

— Вот увидишь!

— И увижу, что ничего не сделаешь.

— Увидишь! — сказал Гришутка и чуть не заплакал от досады.

Федюшка заметил это и поддразнил Гришутку:

— Зареви еще, как теленок.

— Я-то не зареву, а вот ты-то захнычешь.

— Не от тебя ли?

— А то что ж?

— Ну, уж это погодишь немножко.

Гришутка больше не мог сдержать своего сердца, схватил ком грязи, кинул им в Федюшку и убежал.

— Ну, погоди же, попадешься, я тебе задам!

И Федюшка постоял с минуту, задумавшись; потом повернулся на месте и побежал ко двору; а Гришутка ушел с улицы домой, забрался за амбар, уселся там и стал думать, что бы ему теперь сделать с Федюшкой.

„Право, вершу снять или корну топором отрубить; — думал Гришутка, — вот тогда бы узнал он. Сделать это разве? Пущай поревет! Сделаю!“ — решил, было, Гришутка. Но когда он стал больше и больше обдумывать план, как это сделает, — вдруг понял, что у него на это не хватит духу, и когда понял это, то на душе у него сделалось еще темнее.

V.

Прошло дня три; вода опала; верши стало можно вынимать и ставить свободно во всякое время. Днем вода пошла мутнее, так как начала распускаться земля, и рыба начала попадать в верши очень часто; парень, который показывал ребятам место для верши, таскал рыбу каждое утро по целому мешку; попадало и к Федюшке раза три, но к Гришутке ни одна рыба не заглядывала.

Это еще сильнее волновало Гришутку; он бегал каждый день раз по шести на реку, пробовал большим колом загонять рыбу из омутов в вершу, но к нему все-таки ничего не попадало.

— Да ты что без толку бегаешь! — говорили Гришутке домашние. — Ты ведь рыбу только пугаешь; ходи, как люди, раза по три в день — и будет; а то только и живешь на реке.

Гришутка не стал часто ходить на реку, а стал бывать там только по три раза; но и это не помогло, — рыба, видно, и думать не хотела про его вершу.

Однажды Гришутка долго проспал; когда он проснулся, солнце уже поднялось высоко, и на улице от ночного заморозка не было и следа. Мальчику стало досадно, что он так долго проспал, и, еще не продрвав хорошенько глаз, он побежал на реку.

Но только он выбежал из избы и вдохнул свежий воздух, увидел, как блестит все под ярким солнцем, как щебечут птички, — его досады как не бывало, и ему сделалось легко и весело; он забыл про верши, замедлил шаг и побрел потихоньку, упиваясь и наслаждаясь весенней природой.

„Как хорошо тут, а я один, — подумал Гришутка, оглядываясь по сторонам: — если бы нас было двое, еще бы веселей!..“

И ему захотелось вернуться в деревню и позвать кого-нибудь из ребятшек, которые учились в школе и которых только-что распустили домой; но, перебирая мысленно имена этих ребят, он чувствовал, что ни к кому из них у него сердце не лежит так, как к Федюшке, и когда он

почувствовал это, то опять его за сердце точно что ущипнуло и веселье его пропало, и на него нахлынула скука.

„А Федюшка все-таки лучше всех ребят, — точно говорил кто Гришутке: — с ним всегда приятнее и веселее всех“. Вон, как зимой они водились, и зима-то не видать, как прошла, и теперь как бы хорошо обоим им было, а они поссорились. И ему вспомнилось, из-за чего они поссорились, и недоброе чувство к Федюшке опять поднялось в душе Гришутки.

— Нет, нехороший он, ну, его! — вдруг решил Гришутка и побежал к своей верше.

VI.

В верше опять ничего не было. Гришутка опустил голову, — ему было так досадно, что он чуть не заплакал. Медленно и без всякой цели он пошел по реке и незаметно дошел до Федюшкиной верши. Остановившись около верши, он вдруг почувствовал, что сердце его слегка вздрогнуло, и он спросил себя: „Поглядеть разве?“ и, не долго думая, оглядевшись кругом и не заметив поблизости ни одной души, ступил на перекладину и, держась за колья, нагнул голову вниз, — в корне верши что-то блестело; сердце у Гришутки заколотилось еще пуще, он стал внимательнее вглядываться в мелкие струйки воды: в корне верши была рыба.

Кровь бросилась в голову Гришутке; ему сдавило горло, по телу пробежала легкая дрожь.

„Щука!“ — подумал Гришутка и, не раздумывая долго, начал быстро вытаскивать хвой. Расхвоив вершу, он кое-как схватился за рогатину, вытащил вершу на берег и, схватив ее за корну, начал трясти.

Из верши выпала щука, довольно большая, и, извиваясь во все стороны, запрыгала по берегу.

Гришутка бросился опять ставить вершу; страшно спеша, трясущимися ручонками кое-как он поставил вершу, прикнул ее рогатиной и начал захвоивать, — делал он это кое-как, волнуясь и ничего не думая; и когда он кончил работу и хотел уже по перекладине сойти на берег, как ему вдруг послышалось, что в омутке, позади верши, что-то



брызнуло. Гришутка оглянулся,—от берега в глубь омута что-то стрелой мелькнуло: „Еще рыба!..“ — подумал Гришутка, сильнее взволновался и соскочил на берег; но, взглянув на то место, где он вытряхнул шуку, он вдруг заметил, что ее там нет, оглянулся кругом, шуки нигде не было; тогда он понял, что сверкнуло в омуте, и ударил руками о полы.

— Не попользовался! — с горечью в голосе воскликнул Гришутка; и ему вдруг сделалось так тяжело и больно, что слезы полились из глаз.

Минуты через две Гришутка немного ободрился и решил поглядеть, куда делась шука; он прошел вдоль всего омута, внимательно вглядываясь в воду, и вдруг в конце этого омута, неподалеку от своей верши, увидел сквозь прозрачную воду, что шука стоит на дне. Гришутку опять охватило страшное волнение; он нашел где-то длинную сухую ольховую палку и начал колотить ею по воде, думая, что шука бросится дальше и попадет к нему в вершу; но шука вильнула хвостом и исчезла, и, как после Гришутка ни гонял ее, как ни вглядывался в омут—шука точно растаяла в нем.

VII.

Гришутка устал и забрызгался водой так, что был точно выкупанный; он хотел уж бросить палку и идти домой, как невдалеке послышались голоса. Гришутка обернулся. От деревни к реке бежали два мальчика; то был Федюшка и еще один, их же деревенский, немного постарше их, Гаврюшка. Он зиму учился в школе и с ними почти не водился.

Душа Гришутки заняла тоской; он боялся встречи с Федюшкой: он думал, что не сумеет говорить с ним, как следует, чем сразу выдаст себя, и Федюшка поймет, что он глядел у него в вершу.

Ребятишки подбежали к Гришутке быстро, и Федюшка сразу спросил:

— Что ты тут делаешь?

— Шуку гоняю! — еле ответил Гришутка.

— Разве тут есть?

— Плавает... Большая.

— Давайте гонять, может в вершу загоним! — сказал Федюшка.

— Я уже загонял, да нейдет.

— То ты один, а то все будем... — двигай, ребята!

И они все трое начали бегать вокруг омута, бурля воду, ухая и вскрикивая разными голосами; но щука нигде не показывалась; ребята опустили руки.

— Ну, и не надо! — сказал Федюшка. — Коли нас не послушалась, может, сама войдет! Давай поставим поближе к омуту твою вершу.

Гришутка, глядя на Федюшку, забыл свой страх, и сердце его успокоилось; ему сделалось много легче и, только когда поставили вершу и Федюшка пошел глядеть свою, ему опять стало не по себе. „А ну-ка он узнает, что я глядел в его верше?“ — подумал Гришутка, и сердце его замерло; но Федюшка ни о чем не догадался. Гришутка опять повеселел, сердце его не вытерпело, и он сказал:

— А из-за чего мы тогда поругались?

Федюшка вдруг засмеялся и сказал:

— А из-за чего собаки погрызлись?

— Какие собаки?

— А вот Гаврюшка побасенку знает. Гаврюшка, расскажи.

Гаврюшка стал рассказывать:

— „Лежали две собаки и стали они друг друга в дружбе заверять, лапа об лапу ударили. А тут недалеко повар стряпал, и выкинул он кость, — как бросились собаки за костью, — одна схватила, другая у ней отнимать, та ее укусила, и пошла грызния, только шерсть полетела, и про дружбу забыли“.

— Вот так-то и мы с тобой все водились, все водились, а тут не уважил один другого, и дружба врозь, — сказал Федюшка.

Гришутке после этих слов вдруг захотелось рассказать, что он про Федюшку нехорошее думал и как из его верши щуку вытащил, но, побоявшись, как бы этим опять не оттолкнуть от себя товарища, решил отложить это до другого раза.

— Ну, вперед умнее будем, — сказал Гришутка.

— Вот и чудесно! — воскликнул Федюшка и стал звать товарищей домой.

Гришутка с Гаврюшкой согласились, и все они, весело разговаривая, побрели к деревне.

Счастливый случай.

I.

Петюшке Вихорному только наступил 17-й год, но он уже управлял за большака в доме и считался хозяином по всей деревне. Он ходил на сходку и хотя голоса там не подавал, но его принимали в счет и с его дома не брали штрафа.

Отец Петюшки смолоду жил в Питере, бывал дома редко, потом и совсем заболтался там, лет пять уже про него и слуху не было: паспорта из деревни он не брал и никакой вести о себе не давал.

Детей у матери Петюшки было еще две дочери, — одна старше Петюшки, другая — моложе. Вчетвером они и жили.

Петюшка второй год уже пахал с старшей сестрой и справлял другие мужицкие работы: городил плетни, рубил дрова, в покос отбивал косы, насаживал грабли. На все у него была охота и ко всему способность. Но больше всего у него было дарование к грамоте. Школу он прошел в три года и почти шутя. Письма писал он как нельзя лучше. У него были и бойкость, и склад. Случалось, к нему приходили писать письма и из других деревень, а читать он любил больше всего на свете. Лишь только ему попадетсЯ какая-нибудь книжка, он с ней и за обедом не расстанется, и ночью не ляжет спать, пока глаза не станут слипаться. Он читал так много и усердно, что все книжки, какие были у них в Редькиной, а также и в школе в их селе, чуть не наизусть знал; за последний год он добрался уже до книг, какие были у учителя, и глотал их одну за другой.

Читал он про себя, втихомолку, но многое рассказывал товарищам и своим семейным; иной раз сядут они обедать, Петюшка и заговорит:

— А что вы думаете, что больше — месяц или звезды?

Сестры прежде насмешливо встречали такие обращения братишки, иногда они сами на это задавали какой-нибудь смешной вопрос, вроде того:

— А у тебя что больше — нос или голова?

— Глупые!.. — заворчит Петюшка. — Дело говорят, а им смехи да пересмехи!

— Какое же это дело, — скажут девки, — известно, месяц больше, разве слепой этого не видит.

— Ан вон и нет: звезды больше!

И он начнет им рассказывать, что такое месяц, что звезды, какой вид имеет земля, как она вертится. Иногда они просидят за столом часа полтора. Мать в рабочее время сердилась на это, бранилась, но в свободное и сама охотно слушала и только приговаривала, вздыхая:

— Чудны дела!

И зимою, по вечерам, часто Вихорные засиживались чуть не до петухов и в будни, и в праздники, то слушая, что говорит Петюшка, то, что читает он. Девки много запомнили уж наизусть и стихов, и рассказов. Они знали и про „Золотую рыбку“, и про „Кавказского пленника“, и многое другое и часто рассказывали это подругам. Мать тоже многое, прежде непонятное ей, теперь стала понимать. Она понимала, отчего бывает гроза, почему, меняются день и ночь, зима и лето. И все в семье любили Петюшку, уважали, гордились им и хвастались при случае.

II.

Петюшку очень радовало, что семейные слушают его и иногда сами спрашивают его о чем-нибудь, а когда они понимали что-нибудь малопонятное, то радости его не было пределов. Радовался Петюшка и сам не зная чему. Если бы его спросить: чему тут радоваться, когда узнаешь, почему железо от тепла расширяется, а от холода сжимается, а вода, замерзнув, делается легче, то он не мог бы объяснить. Что тут такое, отчего бы могло чаще биться сердце? Но он, если узнавал что-нибудь ранее ему неизвестное, чувствовал, что сердце у него бьется сильнее и все на свете ему кажется милее, точно он какую дорогую на-

ходку нашел. То же он испытывал, когда и другие понимали что-нибудь, как следует, прежде им непонятное. И поэтому ему часто хотелось, чтобы все узнали, что звезды — солнца, что было время, когда на том месте, где стоит их Редькино, где раскинулись поля и луга, где вздымается верхушками зеленый лес — было морское дно. И пробовал, было, он разговаривать об этом с товарищами и со взрослыми, но товарищам такие разговоры казались скучными, а взрослым, может быть, потому, что Петюшка заводил их всегда взволнованным голосом, запинаясь, размахивая руками, — они казались смешными, и у него из этих разговоров долго ничего не выходило. Неудача втянуть других в то, что Петюшка находил самым хорошим и самым интересным, очень огорчала его. Иногда ему очень тоскливо делалось, когда он вздумает рассказать что-нибудь новенькое, только что им узнанное, а к нему отнесутся или равнодушно или с насмешкой, он и на людей сердится, а немного спустя, когда обойдется сердце, на себя досада берет. „Знать, я не умею так говорить, чтобы затянуть всякого“. И он долго раздумывал о том, как бы хорошо было, если бы он умел складно и завлекательно говорить, вон как учитель говорит: тогда бы, верно, его больше слушали и больше понимали то, что ему так хотелось сообщить другим.

III.

У учителя нашлась такая книга, каких Петюшка раньше не встречал. В ней много говорилось о том, откуда взялись у простых людей многие обычаи, обряды, поверья. Там говорилось, что все это перешло к теперешним людям от предков-язычников. Язычники верили в ту силу, которая грозила им, могла или благодетельствовать или уничтожить их благополучие; например, гроза могла наполнить влагой их поля и луга или спалить их жилища и самих перебить, поэтому они поклонялись и солнцу, и огню. Эти силы казались им божественными, и они всячески чтили их, приносили им жертвы. Кроме этого, они думали, что и в воде есть свой бог, и в лесу. И потом, еще в случае какой неудачи, прибегали к прежним богам, разыскивали жрецов-кудесников; те, потеряв уже власть над людьми, старались

какнибудь восстановить ее и охотно принимали к себе приходящих, брались помогать всяким невзгодам их и рассказывали всякие небылицы про свое могущество. Недалекие люди верили им, вера эта пережила много веков, и преемники языческих жрецов, колдуны, ведуны и знахари попадаются до сих пор и продолжают еще обманывать темных людей.

Кроме этого, Петюшка узнал многое другое из этой книги и ясно понял, что языческой темноты и сейчас еще много в их жизни, и темноты такой вредной, что люди, поддерживая ее, думают, что они этим служат добру. Теперешние свадебные пирушки, боязнь необъяснимого для них и многое другое — разве это не следы еще язычества? Когда Петюшка уразумел все это, то он дал себе слово, что при каждом случае будет стараться открывать правду и встречному, и поперечному, и при каждом случае он, действительно, старался говорить, что знает, каждому, кто с ним сталкивался в ночном ли, в избе ли у товарища; но его одним ухом слушали, а в другое вылетало, что он говорил, и больше подтрунивали над ним.

— Мели, Емеля, нонче твоя неделя, — говорили ему.

— Зачитаешься ты своих книжек-то, скоро на стену полезешь.

— А то с ума сойдешь, на людей кидаться станешь.

Петюшке очень горько было видеть к себе такое отношение и слышать такие речи; но он не падал духом, — он думал, что когда-нибудь должны же разобрать люди, что он говорит не пустяки, когда-нибудь выпадет случай, что люди будут понимать, что он говорит правду, и будут верить ему.

И вот такой случай скоро подошел.

IV.

Кончился уже покос, стоял июльский жаркий день. В Редькиной давно уже пришли с лугов, высушили сено вчерашней косьбы, убрали и привезли сегодняшнее кошение; сложив с возов свежее сено, бабы и ребятишки принялись укладывать его в копны. Работа кипела живо, несмотря на то, что сегодняшний день им не мало пришлось поработать. Бабы точно и не чувствовали этого, а весело

поворачивались, то-и-дело поглядывая за сарай, где на длинных, но узких полосах желтела зрелая рожь, к которой они должны были скоро итти с острыми серпами. Мужики в это время, собравшись большою толпою среди улицы, толковали, когда и кому зажинать. Одни говорили, что нужно сегодня, другие — до завтра отложить.

— Чего до завтра откладывать, сегодня нужно, — внушительно сказал один из стариков, — в этом деле мешкать нечего, скорее зажал — и ладно.

— Ну, сегодня, так сегодня, — решительно проговорил староста. — Только кого же послать на это дело?

— Старуху какую постепеннее, — вот хоть бабушку Лукерью, — молвил один мужик.

— Ну, что ж, пусть она зажинает, — сказал староста. — Андрей! — обратился он к белокурому молодцеватому мужику, — ты скажи своей матери: мол, зажинать тебе велели.

— Ладно, — проговорил Андрей.

— Ну, а теперь давайте богу молиться, чтобы все благополучно шло.

Мужики повернулись лицом к востоку и, сняв с головы картузы и шапки, начали молиться. Настроение всех сделалось торжественное, все истово и усердно крестились и низко кланялись. Помолвившись, все опять накрыли головы, и некоторые выговорили то, что у каждого было на уме:

— Чтoб все по-хорошему: дело бы спорилось да по череду шло!

— Да чтoб оттяжки не было...

— Ну, что ж, теперь, чай, и по домам можно итти, бабам помогать сено ворошить? — спросил один мужик.

— Да, ступайте, больше говорить не о чем, — проговорил староста.

Мужики один за другим тронулись с места, как вдруг из-за избы, у которой собиралась сходка, выскочили две бабы, запыхавшиеся, растрепанные, по лицам их можно было судить, что они чем-то страшно перепуганы. Увидав их, и староста, и мужики остановились.

— Что вы? — спросил баб староста.

— Ох, батюшки!.. Беда бедущая!..

— Что такое? Что за беда? — спросили в один голос несколько мужиков и окружили баб.

— Подите, поглядите, что в поле-то деется!

У мужиков почему-то за спиной мурашки забегали, лица у всех вытянулись и побледнели.

— Что ж такое там деется? — допытывался староста.

— Подите, поглядите сами, да скорей!

Бабы повернулись и побежали по той дорожке, по которой вышли; староста и мужики гурьбой двинулись за ними.

V.

Выйдя за сарай, бабы, староста и мужики остановились. Перед ними расстилалось широкое море пожелтевшей ржи, тихо волновавшейся от легкого ветерка.

Мужики окинули это море пытливым взглядом, но ничего особенного не заметили.

— Ну, что ж тут такое делается? — спросил староста у баб.

— А вон, поглядите! — молвила одна из баб и показала рукой на дальние полосы.

Мужики направили взоры туда, к ним присоединились другие бабы, ребятишки, — все, кто только был у сараев. Все с напряжением глядели вперед, затаив дыхание.

Ни староста, ни мужики, однако, не понимали в чем дело.

— Так что же тут? — уже нетерпеливо спросил староста.

— Да что вы ослепли, что ли? — заговорила вдруг одна из стоявших в толпе старух. — Или глаза вам туманом заволокло? Протрите их да взгляните хорошенько: энтó кто там бродит-то... вон по межнику-то пошел, вишь, на горку поднимается, в лес хочет уйти.

Мужики, наконец, увидали, что вдали, меж полос, действительно, кто-то шел. Шел он медленно, то и дело нагибаясь, как бы поднимая что под ногами. Всматриваясь внимательно, можно было сказать, что это женщина, так как голова ее была покрыта или черным платком, или волосы были распущены по плечам, платье же на ней было белое. Мужики с недоумением взглянули друг на друга, староста тоже недоумевал.

— Ну, так что ж такое? Человек какой-нибудь бродит, — сказал он.

— А, человек! — проговорила старуха. — Чего ж ему бродить-то меж полос без дела? Ишь, то сюда шел, то назад воротился! У кого праздник-то сегодня? А ты скажи вот что: пережин делают! Узнала какая-нибудь, что завтра зажинать, вот и поторопилась.

Мужики опять взглянули на поля. Человек удалялся к лесу, росшему сейчас за полем. Лица у мужиков и старосты вытянулись и побледнели. Всех охватило сильное волнение, староста проговорил:

— Пожалуй что так, похоже на это. Ах, нечистый! Я только, было, наказал, чтобы поскорее зажинали, а она уже упередила. Тьфу!

И староста сердито плюнул.

— Что ж теперь делать-то? — спросил один из мужиков.

— Что делать? Надо бежать за ней да перехватить, — предложил тот старик, что давеча торопил зажинать.

— Кто за ней побежит-то? Ведь боязно, — сказал староста.

— Знамо, страшно! — поддерживали старосту некоторые мужики.

— А чтобы не страшно было, то вот что нужно сделать, — поучал все тот же старик, — нужно крест свой поверх рубашки выпустить и „Да воскреснет бог“ читать.

— Поможет ли это, дедушка Панфил?

— Поможет, — уверенно проговорил дед Панфил.

— Так кто пойдет, идите, пока не ушла! — крикнул староста. — Кто охотник?

Все молчали. Никто не решался идти добровольно.

— Надо послать кого помоложе, — предложил еще один старик.

— Кто помоложе? — проговорил староста. — Разве ребят послать? Эй, Мелешка, Сенька! бегите-ка вы! Вы ребята смелые, здоровые, авось сладите с колдуньей-то. Я вас за это чаем с баранками угощу.

Два здоровенных парня выдвинулись из толпы, взглянули друг на друга, и один проговорил, обращаясь к другому:

— Побежим?

— Побежим!

Они поодернулись и первым межником побежали в рожь. Вскоре из-за высоко поднимавшихся колосьев ржи были

видны только их головы, по которым все-таки можно было судить, что они идут довольно ходко.

— А, пожалуй, не догонят,—уйдет колдунья,—говорили в толпе.

— Лучше бы всем итти,—все-то скорей бы поймали.

— Ну, нет, она всех-то разом приметит да и улизнет, а эти незаметно подкрадутся к ней,—сказал один старик.

— А то еще насмешку какую надо всеми-то сделает,—подлакнул ему дедушка Панфил,—с ней тоже не шути.

— Какую насмешку?—допытывались неопытные из толпы.

— Назад пятками поворотит!—воскликнул находившийся в толпе Петюшка и громко рассмеялся.

VI.

Петюшка очень волновался. Его разбирала досада и желчный смех с самого появления баб на сходке, и он глядел на общий испуг и на приготовление к погоне за колдуньей или колдуном с горечью в душе и сердце. Он то бледнел, то краснел и все собирался поднять голос против этой глупой суетни, но не находил для этого в себе ни присутствия духа, ни подходящих слов и только кусал губы от досады. После того, как Петюшка, наконец, разразился смехом, в толпе начались шумные разговоры. Кто рассказывал, как где-то и когда-то от пережина такая беда случилась, что все жней перехворали. В другом месте нажали много, а хлеба ни у кого до весны не хватило, куда он делся—неизвестно. Петюшка долго молча вслушивался во все, что тут говорилось, и мало-по-малу овладел собой и, подступив к дедушке Панфилу, подтверждавшему каждую небылицу, спросил:

— Дедушка, а что такое пережин? Говорят: пережин, пережин, а я и не знаю.

— Пережин-то что?—серьезно молвил старик,—а вот что: есть такие люди, которые с нечистым водятся. Ну, вот они, как поспеет, значит, рожь-то, и бегают по полю и там серпом или ножницами и вырезают по сколько-то соломинок, и при этом, знамо, какие полагаются, заговоры твердят,—это и называется пережин.

— А для чего же это они делают-то?

— Для чего?.. А для спорыньи: коли они это сделают, то у них хлеба-то будет сколько хошь, ешь — не переешь.

— Отчего же?

— А оттого, что к ним из тех домов, на чьей полосе они пережин-то сделают, хлеб-то и будет переходить. Отчего же пережина все боятся так!



— Как же он будет переходить?

— Перетаскают... у них нечистых тьма-тьмушая — вроде как в работниках, вот они и перетаскают, полны закрома набьют.

— И какое дело, говорят, — обратился дед Панфил вдруг к толпе, — своя-то рожа у них лежмя лежит в закроме, а эта вот вся торчком стоит.

— Ну?

— Право.

— И ухитрятся же!

— Черти да не ухитрятся: они народ продувной, — заметил один мужик.

— Говорить нечего, — поддакнул ему другой.

Петюшка мотнул головой, как-то загадочно улыбнулся и проговорил:

— Все это враки!

— Как враки! — опешил старик.

Несколько мужиков обернулись на малого, недружелюбно покосились на него.

— Так враки, не может этого быть, — набираясь все более и более смелости, продолжал Петюшка. — Если у колдунов с колдуньями есть нечистые в слугах, то зачем их за этим добром посылать, за рожью, — они бы только заикнулись, и им золота да драгоценных камней бы натащали, клады все откопали бы, а не то что, что...

— Клады им не дано! — кое-как вымолвил дед Панфил.

— Как это не дано? Где это писано? Кто это знает?.. Никто ничего не знает, и все это пустяки!

И, сказавши это, Петюшка поправил фуражку, отошел в сторону и опустился на траву.

VII.

Несколько мужиков помоложе, парни и ребята тоже расселись вокруг Петюшки. Дед Панфил, уже весь красный от волнения, стоя выпуча глаза, более минуты не знал, что ему возразить на такой резкий отпор. Наконец, он как бы собрался с духом, подвинулся к кружку, что собрался вокруг Петюшки, и снова заговорил:

— Ну, ладно, — это враки, пережинов никто не делает, и колдунов с колдуньями нет. А скажи на милость: кто это людей портит?

— Где? — как бы недоумевая, обращаясь к старику, спросил парень.

— Да где придется, вот в оборотни оборачивают, болезнь напускают, молодых на свадьбе портят.

Петюшка мотнул головой, поднялся на колени и, уставившись на деда Панфила, проговорил:

— И это враки, никто никого оборотнем не оборачивает, и сделать этого нельзя,—все это сказки. А что болезнь, незнамо отчего с человеком приключается, это очень просто, особенно на свадьбе с молодыми, или с кем хочешь. Только опять это не от колдунов. У нас как свадьбы-то справляют, что бывает? Жарко и парко, и пьют, едят, незнамо что да незнамо как. Разве хитро тут болезнь схватить? А чтоб от колдовства что могло случиться — неправда это.

— Болтай, что не надо, молокосос!..

— Что хошь говори, а мне думается это дело, — сказал Петюшка и, опустившись опять на траву, принял спокойный и уверенный вид.

В кружке около Петюшки снова заговорили. Кто принимал сторону малого, а кто спорил против этого и говорил, что прав дед Панфил, и, может быть, долго бы спор продолжался, если бы один паренек не заметил:

— А вот сейчас узнаем—воротятся посланцы, какую весть принесут.

VIII.

— Идут назад, идут! — крикнул кто-то, и на всех эти слова подействовали, точно нечаянный выстрел ружья.

Все вздрогнули; усевшиеся, было, около Петюшки мигом вскочили на ноги и, взволнованные, обратили взоры туда, куда побежали ребята.

В самом деле, среди ближних полос видны были возвращавшиеся Мелешка с Сенькой. Они подвигались вперед довольно быстро и, видимо, одни: с ними никого не было. Народ, увидав это, взволновался, — кто засмеялся, кто нахмурился.

— С пустыми руками идут!

— Знать, не поддалась.

— А, може, и правда, это не колдунья была, — сказал староста и обвел толпу глазами.

— Знамо, не колдунья, вот выдумают, — сказал Петюшка, — их и днем с огнем не отыщешь.

— А все-таки были они когда-нибудь?

— Были какие-нибудь проходимки и проходимцы, когда народ потемнее был, — выдавали себя за всезнаев и обирали простаков.

— Погодите, не горячитесь, вот подойдут ребята, расскажут, и узнаем, — говорил дедушка Панфил притворно спокойным голосом, но в глазах его светилась тревога.

Ребята подвигались все ближе и ближе. Они уже вступили в последний межник. Мужики и бабы сильно волновались: разные предположения то и дело срывались с их языков. По отрывочным восклицаниям можно было догадаться, что все они полны нетерпения, и всем хочется поскорее узнать, отчего ребята возвращаются одни. Мальчишки, как самый нетерпеливый народ, не стали дожидаться ребят, а побежали к ним навстречу. Ребята прошли уже последний межник, вот уже видны их сдвинутые на затылки картузы и покрытые потом лица. Вот они во весь рост предстали пред мужиками и бабами. Подойдя к толпе, они бросились на землю и, скинув с голов картузы, стали отпыхиваться. Мужики и бабы обступили их.

— Что ж вы с пустыми руками, аль не догнали ее?

— Знать, не подпустила к себе? — посыпались вопросы.

— Какой не подпустила, что она медведица, что ли? — сказал Мелешка.

— Так что же вы не привели ее?

— Кого?

— Да колдунью-то!

— Никакой там колдуньи не было: это ходила писариха из Хапалова.

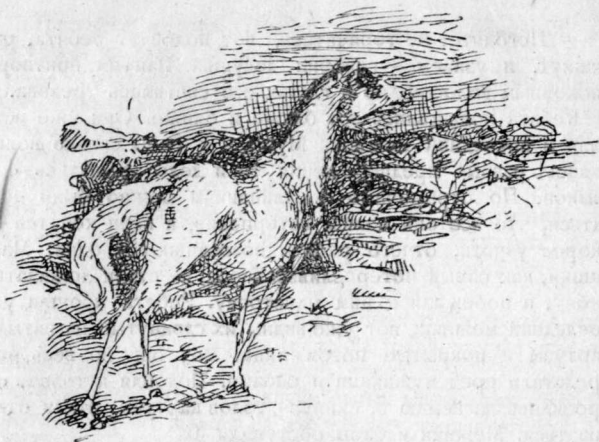
— Ну, да! да что вы? — зараз послышалось несколько восклицаний. — Зачем же ее носило сюда?

— А кто ее знает, ходит, цветки рвет, траву какую-то собирает: вот и все!

— Ах ты, окаянная сила! — выругался староста. — А мы тут горячимся, канителемся, и дернуло же ее на наше поле притти.

— А малый-то угадал, видно! — воскликнул кто-то из мужиков и поглядел на Петюшку и деда Панфила.

Петюшка торжествующе улыбнулся; сконфуженный старик только мялся на месте. Немного спустя, он было заикнулся насчет того, что она, мол, это вид переменяла, но его не стали слушать. Все поспешили по домам.



Д и ч о к .

I.

Наступило осеннее утро. Восток зарделся зарею. Ночная темнота сделалась реже, и стало можно разбирать из недалека различные предметы. В деревне начала отчетливо выделяться полоса дворов из окружавших их деревьев, сараи и овины. С каждой минутой все кругом делалось виднее и виднее: Звезды гасли одна за другой, а заря охватывала все шире и шире восток. Уже легко было отличить красную рябину от побуревшего листа и видеть, что вся земля покрыта точно рассыпанным серебряным порошком—морозом.

День был праздничный, поэтому не слышалось стука цепов с гуген, обыкновенно раздававшегося уже в эту пору; не было никакого признака бодрствования,—видимо, все еще спали...

Но это было недолго. Еще заря не успела перейти из белого цвета в розовый и ночной мрак окончательно рассеяться над землею, как понемногу началось оживление. На одном дворе стукнули дверь и послышался голос хозяйки, поднимавшей спавших коров для доения; в другом

хлопнула калитка, и худенькая старуха вышла за хворостом в проулок. На краю деревни, у одной из самых заботливых стряпух блеснул огонек сквозь окно, и через минуту из трубы показался жидкий столбик серенького дыма, который покрутился по случаю стоявшего затишья во все стороны, рассыпался, было, книзу, но не надолго. Мало-по-малу столбик окреп, выровнялся и потянулся кверху. В избе затопилась печка.

Еще через минуту хлопнула калитка у большой, еще свежей избы степенного крестьянина Макара Павлова, и из нее выскочила баба и выскочила „не путем“: она была полуодета и босиком. Быстро подбежав под окно соседней избы, она стала немилосердно в него барабанить.

— Кто там? — послышался торопливый оклик из-за окна.

— Соседушки, родные! — завопила баба со слезами в голосе, — какая беда-то у нас случилась: двух лошадей увели!

В избе послышались тревожные возгласы и возня видимо соскакивавших с постели хозяев; вскоре несколько заспанных лиц показались в окнах и раздались восклицания:

— Ну, да! да неужто правда?!

— Ей-богу, правда! О-ох, мы, разнесчастные! — завывала баба и, отскочив от соседней избы, побежала опять к себе.

В окнах других изб показались тоже людские головы, посыпались опросы:

— Что это? О чем она?

— Лошадей увели!

— Батюшки мои!

На крыльцо соседней избы вышел хозяин. Торопливо поглядев в проулок, он вдруг встревожился, поднял руки, хлопнул ими по бедрам и прокричал:

— А у нас телегу укатали!

Поднялась суматоха. Народ из ближних дворов повывскакал на улицу, заметался, заволновался, закричал, — оказалось, еще из одного сарая была украдена сбруя, два плуга и мешок льняного семени. Беготня, вой, шум поднялись невообразимые. Целых полчаса все были, словно угорелые, метались из стороны в сторону, собирались в кучи, опять разбегались; наконец, понемногу уgomонились, сделались несколько спокойнее и решили, что мешкать нечего, а нужно отправляться в погоню, и чем скорее, тем лучше.

Отобрали людей, стали решать, в какую сторону отправляться, пошли разглядывать следы, но следы в суматохе были все затоптаны, и их никак нельзя было разобрать. Пришлось отправляться в разные стороны.

Бабы из потерпевших домов плакали, ребятишки ревели, мужики имели крайне огорченный вид.

Всех более казался огорченным Макар Павлов. Хотя он был мужик зажиточный (у него жил в городе сын на хорошем месте и хорошо „подавал“ ему) и из украденных лошадей одна была кляча старая и запаленная, но он ходил точно разбитый чем и поминутно охал:

— Ох, Дичка украли! Дичка увели!.. Батюшки мои родные, ведь это полживота отняли! Кусок сердца вытянули!

И он поднимал живот, хлопал по бокам руками и никак не мог удержать выступавшие на глазах слезы. В погоню он не мог уехать и не мог сообразить, что ему теперь делать; горе окончательно затуманило его голову и помутило ум.

— Ведь он родной мне был, кровный, родной! Как же это его увели у меня? — лепетал Макар, и голос его прерывался от приступавших слез.

Дичок был вторая из украденных у Макара лошадей, еще молодая и очень любимая и им самим, и всей его семьей.

II.

Отроду Дичку было лет пять с половиной. У Макара он был уже года четыре. Купил его Макар на втором году, и вот при каких обстоятельствах.

Однажды, тоже осенью и в праздничный день, в семье Макара сели ужинать. Время было не очень позднее: только что убрали скотину и подоили коров. Ужинать торопили девка и сам Макар. Девка затем, чтобы поскорей итти на улицу, а Макару нужно было итти сушить овин...

Только, было, уселись за стол и старуха подала, было, чашку шей, как дверь отворилась, и в нее вошел высокий, неуклюжий мужик, с другого конца деревни, Яков Ильин.

— Хлеб да соль!

— Просим милости!

— Кушайте на здоровье!

Мужик сел на лавку, почесал в затылке и, обратившись к Макару, проговорил:

— А я, брат, к тебе!

— Что такое?

— Я видел, ты раз летом с реки бодягу нес; не дашь ли мне, пожалуйста, щепоточку?

— На что тебе?

— Да что, шут ее побери-то, беда случилась!

— Какая такая?

— Да жеребенок парню ногу расшиб в самой коленке! Раздуло, посинела вся: парень на-крик кричит!

— Ишь ты, грех какой! — сказала жена Макара. — Как же это он ему подвернулся?

— Как подвернулся? Нечаянно. У нас ведь нешто лошади! — с озлоблением проговорил Яков. — Не лошади это, а дьяволы, уж такой анафемский покон!

— Чем же? — проговорил Макар. — У тебя, кажись, кобыла хорошая...

— Хорошая в работе, — сказал Яков, — тягущая и сильная, а характером чорту сестра... Чуть маленько оплошаешь, живым заест. Вот и жеребенок в нее задался, да не первый такой, а третий. Тех из-за характера сбыл, этого пустил, — ну, думаю, последыш, може, помирнее будет, выращу кобыле на смену, ан, вишь, и этот такой!

— Что ж, он лягается, что ли?

— И лягается, и кусается — всем берет!... К себе не подпустит, вот какой, окаанный!

— Ишь ты, — проговорил Макар и замолчал. Хлебнувшей, он проговорил: — Ладно, я бодяги-то тебе дам...

— Дай, пожалуйста, а то просто беда! Парень измучится совсем.

Поев наскоро, Макар вылез из-за стола, сходил в горенку, принес щепоть бодяги и, отдав Якову, стал объяснять, как ее употреблять. Яков слушал Макара внимательно, хлопал глазами, но видимо, ничего не понимал. Макар заметил это, сразу оборвал объяснение и проговорил:

— Да постой, я сам пойду, погляжу, какой ушиб-то, и сделаю, что надо.

— Пойдем, пожалуйста.

Макар оделся, они вышли из избы и направились вдоль деревни.

Подходя к дому Якова, Макар вдруг услышал за воротами, внутри двора его, какую-то возню, звонкие удары по чему-то и бабье взвизгиванье: „Вот тебе, вот тебе, вот тебе, идол!“ Когда они вошли в калитку и Макар взглянул во двор, то увидел, что Соломонида, жена Якова, держала в поводу обротанного полуторагодовалого жеребенка и здоровою палкой лупила его по чем попало. Жеребенок рвался, метался, бросался во все стороны, но баба крепко держалась за повод и немилосердно тузила его. При виде мужиков, баба бросила палку, сняла оборотку, жеребенок рванулся в сторону и ударился боком о забор так, что сейчас же отскочил от него, как мяч, и не удержался на ногах. Потом он быстро вскочил снова на ноги, сделал круга два по хлеву и, забившись в угол, остановился там, дрожа всем телом и пугливо всхрапывая. Макару стало жалко его.

— За что ты его?—спросил он бабу, приподнимая шапку.

— За парня проучила, — проговорила, еле отпыхиваясь, баба, — не будет другой раз лягаться, пес... Ах, ты, сокрушитель этакий!

— Так его и надо, озорника!—одобрил бабу Яков.— Он скоро всем проходу не даст! Такую замычку взял, ни на что не похоже. Корму задаешь, и то боишься, как бы не саданул. Приложит уши и глядит!

Макар ничего не сказал. Они вошли в избу. Парень сидел около стола и, придерживая рукой ушибленное место, раскачивался всем туловищем и тихо стонал. Макар, не долго думая, начал растирать ему ушибленное место бодягой.

“Растерев и завязав ушиб, Макар сел на лавку. Яков, Соломонида и парень в один голос стали жаловаться ему на лошадиный покон.

— Лошадь по делу цены нету, коли бы не такая злючка, а злючка ни на что не похоже! В запряжке-то и то охмывается, а когда без сбруи, лучше не подходи! А в стаде, когда ловить вздумаешь, просто наказание: ходишь, ходишь за ней, не поддается, да и все тут.

Макар долго молчал, потом повернулся на месте и проговорил:

— Удивительное дело, что вы за чудак! Что вы скотину-то за столб бесчувственный считаете али за колоду какую? Сами незнамо как обходятся с нею да еще ропщут!

— А как же обходиться с ней еще?—спросила удивленная Соломонида.

— Помягче. Будешь помягче обходиться, и она помирней будет...

— Что же с ней теперь бобы, что ли, разводить?—сказал недовольным голосом Яков и стал набивать трубку.

— Не бобы разводить, а кротости побольше иметь! У вас ведь как,—чуть маленько, и кулаком ее в морду, баба—рогачем, парень—чем попало! Ономясь, я сам видел, как парень ваш свел кобылу-то в ночное, спутал ее, снял обротъ, да как грызлами ¹⁾ хватит по морде, так та, сердечная, индо головой завертела! Так как же ей тут смирной быть?..

— Это не оттого!—сказал Яков.

— Как не оттого? Попробуй-ка с ней лаской-то обращаться, другой свет увидишь!

— Со скотиной-то лаской?—сказала жена Якова.—Поймет она твою ласку!

— А вы попробуйте,—настаивал Макар.

— И пробовать не будем!—проговорил Яков.—А видно, не ко двору нам этот покон, нужно его перевести!

— Знамо, так!—поддакнула Соломонида.—Продать обеих, а на ихнее место купить какую помирнее.

— И жеребенка продадите?—спросил Макар.

— И жеребенка продадим. Что ж на него любоваться, что ль?

— Сколько же за жеребенка думаете взять?

— Да что, красненьких полторы дадут и ладно!

— Пушай за мной!—решительно сказал Макар и встал с места.

И Яков, и Соломонида удивились.

— Идет, что ли?—спросил Макар и протянул Якову руку.

— Бери, только на нас не пеняй, мы говорим тебе, что в нем есть!

— Да что уж есть, все мое.

— Ладно!

¹⁾ Грызла—железные удила у узды—местное название.

III.

Дома на Макара поворчали, было, зачем он купил такого жеребенка; но мужик не обратил на это никакого внимания, и на другой день, обмолотив овин, взял деньги и пошел к Якову. Был сильный заморозок, скотина стояла еще на дворе. Яков обротал жеребенка, Макар его принял из полы в полу и, перекрестившись, повел к себе.

— Ну, глядите покупку-то, — крикнул Макар своим, держа жеребенка под уздцы.

Семейные Макара высыпали на улицу и принялись оглядывать жеребенка. Жеребенок был крепкий, туловище круглое, зад лоснился, копыта стаканчиком, шея толстая, голова небольшая, сухая, глаза точно огонь. Он стоял, пугливо озираясь кругом, семеня ногами, пофыркивая и не давая дотронуться до себя.

— Ишь, какой дикий, — сказала девка.

— Дикий-то, дикий, — согласился Макар, — мы, пожалуй, и звать-то его будем Дичок, — ничего?..

— Ишь, у него и глаза-то горят, как у волка, какой в нем толк будет? — молвила Макарова баба.

— Не было страсти на дворе, так будет! — недовольным голосом сказала невестка. — Коли он такой злой, боязно будет и по двору-то пройти!

— Заест, — шутиливо сказал Макар. — Он уж бабы три съел таких-то, только ноги остались.

— А, постой, я ему хлебца вынесу, — будет он есть али нет? — сказала девка и побежала в избу.

— Да посоли хлеб-то! — крикнул ей вслед Макар.

Девка вскоре вернулась с ломтем хлеба и поднесла его жеребенку. Жеребенок, завидев хлеб, и бровью не моргнул.

— Еще не привычен, — молвил Макар и поднес хлеб к губам жеребенка.

Жеребенок отвернул голову.

— Ишь ты, не хочет! Постой, раскушаешь, будешь есть!

И Макар отломил кусочек хлеба, где было побольше соли, и впихнул его в рот жеребенку. Жеребенок нехотя взял его, помял губами и проглотил. Макар подал ему еще такой же кусочек; жеребенок сжевал охотнее и, увидав, что у мужика еще есть хлеб, сам уже потянулся за ним.

— Вот так-то! — проговорил Макар и стал гладить жеребенка по морде. — Ешь, ешь, дурашка! Привыкай да будь смирен.

И, дождавшись, когда жеребенок съел хлеб, он тихонько повернул его и повел во двор. Жеребенок заартачился и не захотел, было, итти на чужой двор. Макар, остановившись, стал гладить его по морде и шее.

— Ну чего ты, чего, дурашка? Не бойсь! Тебе тут хорошо будет!.. Молодуха, принеси-ка ему приполок не-веечки!

Жеребенок после ласки оказался послушливее и, не упираясь, вошел во двор. Макар завел его в задний хлев, снял обротку и проговорил:

— Ну, вот тебе и место, гуляй здесь!

Жеребенок почувствовал, что с него сняли обротку. сразу рванулся в сторону, взлягнул, при чем чуть не попал Макару пятками в грудь и, забившись в угол, остановился там, дрожа всем телом.

— Ишь, как тебя приучили... Ну, постой, здесь тебе того не будет!

И Макар засыпал в кормушку принесенный молодухой невеяный овес и вышел из хлева.

IV.

Макар всегда и сам со всей скотиной обходился ласково, старался не бить, не кричать на нее, и семейным не позволял этого делать. Так же стал он обращаться и с Дичком. Мало того, он на первых порах сам стал ухаживать за ним; сам носил корм, сам поил, сам таскал подстилку. Допускал он и дочь с невесткой это делать иногда, но сам все-таки присматривал: достаточно ли они корма или пойла ему дали, так ли положили. На первых порах Дичок не подпускал к себе никого. Только кто покажется в хлеве, он бросается в угол, настораживается, поднимает уши и стоит, смотрит. Едва кто делал к нему шаг, он, прижимая уши, начинал охмыляться и семенил задними ногами. Старуха, когда носила пойло овцам, всегда опасливо озиралась, не бросился бы он на нее, не ударил бы как. Настороже были всегда и девка с невесткой. И только Макар не обра-

щал на это никакого внимания. Положит корм, подойдет к нему и, ласково отпрукивая, ухитрится как-нибудь схватить за шею или за холку и начнет гладить его, почесывать, называть нежными именами. Мало-по-малу жеребенок стал привыкать к нему, встречать более дружелюбно и не отскакивал уже от кормушки, когда кто-нибудь появлялся в хлев.

Мало-по-малу Дичок стал позволять дотрагиваться до себя не только Макару, но и старухе, снохе, а особенно девке. Девке потому, что она всех больше ухаживала за ним и обходилась ласково и, кроме того, часто выносила горбушку или кусочек хлеба.

К весне Дичок поднялся, вырос и сделался еще круглее корнусом. В первую бороньбу Макар пожалел его запрягать в борону. Но в яровой сев, когда работа бывает легче и когда лошади несколько поправляются на вырастающей к этому времени зеленой траве, — он решился попробовать его. В один полдень он послал Федорку в стадо привести его. Девка живо прикатила с ним, и Макар, благословясь, исподволь стал надевать на него хомут.

Дичок, было, фыркнул, насторожил уши и поднял голову, но Макар с девкой, сдерживая и поглаживая его, наделили хомут, стали засупонивать и вхлестывать гужи. Сделав это, Макар под уздцы повел Дичка на полосу, зорко следя, как бы он не рванулся назад и не наскочил бы на борону.

Дичек шел на полосу неохотно; остановился, было, когда опрокинули на пашне борону зубьями вниз и ему стало тяжело ее тащить; но его опять погладили, почесали, и он легко двинулся с места.

Два раза взад и вперед Макар сам провел Дичка по полю с девкой, которая ехала впереди на старой лошади. Потом связал вдвое повод и надел его дочери на руку, сам же отошел в сторону. Жеребенок пошел как „малое дитяtko“.

— Заходит-то, заходит как на повороте, словно старая лошадь! — говорила Федорка, и лицо ее светилось счастливой улыбкой.

— Обыркается, бог даст, и пойдет! — сказал Макар и не пошел уже больше за жеребенком, а остался на конце полосы.

V.

Следующею зимою, когда выпало достаточно снега и санная дорога установилась совсем, Макар попробовал Дичку в упряжке; для этого он запряг старую лошадь в дровни и пустил вперед, а Дичку, запряженного в другие сани, на аркане пустил позади. На передней лошади поехала невестка; на Дичке он сам с Федоркой.

Когда тронули от двора, то Дичок рванулся с места сразу и полез, было, на передние дровни. Но молодуха ударила по лошади. Тогда Дичок бросился в одну сторону, потом в другую, но, натягиваемый арканом и управляемый вожжами, он поневоле вышел на дорогу и плавно побежал вперед.

— Ну, вот, так-то, беги, не сворачивай!—говорил Макар.

— Как он ловко ногами-то вывертывает!—восхищалась Федорка.

— Побегжка развязная, нечего говорить!—присматриваясь к бегу Дички, молвил Макар.

Выехали из деревни, доехали до перекрестка и повернули на другой путь. Макар крикнул, чтобы молодуха пошибче ехала.

Та разогнала лошадь. Дичок тоже прибавил ходу, аркан остался без натяжки.

— Кати, Дичок! Не выдавай! Не давай старому спуску!—веселым голосом поощрял жеребенка Макар.

— Что за бег, батюшки мои?—восхищалась, жмуря глаза, раздумывавшаяся на холодке, Федорка.

— Стой!—крикнул Макар молодухе.

Молодуха сдержала свою лошадь. Макар выскочил из саней, отвязал аркан от передних дровней, завязал его на оглоблю и велел молодухе съехать с дороги.

Молодуха тронула свою лошадь в сторону, Дичок двинулся, было, за нею, но Макар натянул вожжи, и жеребенок остановился. Потом, когда дорога очистилась, Макар опустил вожжи и крикнул:

— Но-о!

Дичок дружно тронулся с места и пошел вперед мелким шагом и высоко подняв голову. Макар снова крикнул:

— Пошел, дурашка!

Дичок согнул голову, рванул ею вперед и перешел на рысь. Дальше, больше, рысь все делалась крупнее и крупнее. Дичок начал, было, скакать, но Макар сдержал его, слез опять с саней, ввел ему в рот удила и опять тронул.

На дороге показался встречник. Федорка указала на него отцу; Макар ничего не сказал, а только перебрал в руках вожжи и слегка ударил ими Дичка.

Дичок пошел во всю. Не доезжая сажени две до встречника, Макар натянул правую вожжу, и Дичок покорно свернул с дороги, объехал путника, быстро вылез снова на дорогу и пустился, было, опять во всю рысь, но Макар сдержал его.

— Ну, будет, будет! показал прыть и ладно. Ступай шагом, домой пора!

— Молодец, сердце радуется! — говорила Федорка.

— Дал бы бог здоровья — славный конек выйдет! — молвил Макар.

VI.

После этого Дичка уже все крепко полюбили в семье Макара. Сам же Макар и Федорка просто души в нем не чаяли. Они заботились о нем больше всех, ласкали его, — за работой ли, в езде ли, при даче корма на дворе, — всегда у них находилось для него нежное слово. И все это для Дичка не пропало даром. Он рос, толстел, был всегда веселый и здоровый и совсем забыл свою прежнюю привычку охмыляться или пугаться. Он подпускал к себе и молодуху, и старуху, его свободно ловили в стаде, а к Федорке даже на голос шел. Придет она в полдень или ловить его в стадо и только кликнет: „Дичок!“ — и Дичок бежит, аж земля дрожит. У Федорки всегда находилась на его долю корочка хлеба в кармане; когда же этого не было, то Федорке долго приходилось отбояриваться от него. Ходит он за ней по пятам, мешает доить коров.

Воза возить Дичка пустили на пятое лето, прежде запрягли в навозницу и давали возить только по упряжке, а на другую пускали гулять, потом в покос запрягали кое-когда за травой, совсем же его пустили наравне со старыми лошадьми только в сноповозку.

И в возах хорошо пошел Дичок: не мнется, не артачится. Случалось, накладали и тяжелые воза, — ему было все равно.

Однажды уж возили яровые снопы. Макар с возом на Дичке догнал Якова, бывшего хозяина Дичка; тот тащился тоже с снопами, на тощей кляченке, и вез не больше, как снопов сто двадцать. Поздоровались, разговорились.

— Втягивается жеребенок в работу-то? — спросил Яков.

— Еще как втягивается-то! надо бы лучше, да нельзя! — ответил Макар.

— А характером как?

— Смирен, хоть разбери, а умища — и сказать не знаю какой. Молодухины ребятишки почти между ног у него бегают и он хоть бы что!

Яков тряхнул головой.

— Вот, поди ж ты! Что значит ко двору-то придет, и характер изменит!.. А у меня-то что выделявал!.. Мать-то его вон на какого одра променяла, хоть сам на подмогу впрягайся, а ничего поделать не мог!

Макар хотел сказать ему, что и прежде говорил: что это не оттого у них этот покон не задался, а от обращения их, но в это время лошадь Якова остановилась. Дичок тоже, было, встал, но только на одну минуту. Он поднял голову, грянул ею, влег на хомут, осадил несколько свой воз, — потом исподволь свернул в сторону, обошел воз Якова и пошел впереди; Макар побежал за ним.

VII.

И такого сокола у них украли! Макар этому, было, и верить не хотел. Он думал, что это снится ему, встряхивал головой, полагая, не спросонья ли это, но то был не сон... Когда Макар в этом вполне убедился, то сердце его облилось кровью.

— Злодеи! Аспиды! — ругался он на конокрадов. — Как у них руки-то не отсохли, когда они обротывали лошадей-то! Как они не напоролись на что-нибудь, когда на двор-то лезли! Что они со мной только поделали-то?

И сердце огорченного Макара кипело такую злобою, какой, может быть, он не испытывал отроду. Он стискивал зубы, сжимал кулаки и желал разорителям разных напастей и бед.

С нетерпением ожидал Макар, когда вернутся посланные в погоню. Что-то они скажут? Не нападут ли на след, не догонят ли похитителей?

Пришло время обеда. Посланных не было ни видно, ни слышно. В семье Макара сели за стол; но за еду никто не принимался. Все сидели опустья головы. Старуха охала и кашляла, молодуха насупилась, как будто ей и на белый свет было глядеть не мило, а у Федорки так все лицо опухло от слез.

— И что это за отчаянный народ есть, господи боже! — заговорила вдруг старуха, — идут в чужую хоромину, берут чужую животинину, как будто это так и надо!

— И смелые какие разбойники, — поддакнула ей молодуха, — словно о двух головах: ну, хозяевам попадутся, что ж, жизнью, что ли, ихней подорожат... Что попадется под руку, тем и ахнут!..

— Неужели этот народ крещеный? — молвила Федорка, и на глазах ее снова выступили слезы.

У Макара сердце обошлось, и рассудок прояснился маленько. На все это он только проговорил с тяжелым вздохом:

— Нужда да зависть до всего доведут!

Нужно было садить овин к завтрашнему дню, но никто не помнил об этом, никому дело на ум не шло.

К вечеру стали возвращаться посланные в погоню. Приехали с одной дороги, с другой и третьей. Везде видели следы и далеко по ним гнались, но никого не догнали. Спрашивали встречного и поперечного, не попадались ли им неизвестные люди с лошадьми, но на это никто ничего и сказать не мог.

При таких известиях в соседних избах раздался вой. Заплакали, было, у Макара старуха с Федоркой, но Макар их остановил:

— Будет вам! Слезами горю не поможешь!.. Видно, божье попущение на нас вышло!..

Приехал урядник, описал все подробно, что у кого украдено, где и как пробрались воры, какие взломы сделали, составил протокол и уехал.

Наступила ночь.

VIII.

Плохо спалось в эту ночь соседям Макара. Не спалось и ему с семьей... Тысячи горьких дум копошились в головах их и гнали от них сон... Как теперь быть? Чем заме-

стить ущерб? Убытки большие — не на рубль, не на два; где на это место взять в крестьянстве; когда у многих всю жизнь при тяжелом, почти непрерывном труде, свободной копейки не загонишь? — И горем томительным, тяжким горем сжимались сердца несчастных и не давали им успокоиться.

Но сон все-таки взял свое. Понемногу расслаблял он то



одного, то другого, понемногу навевал дремоту на глаза их. Наконец, он совсем овладел измученными горем людьми и приковал их к постелям.

Пропели петухи, вторые и третьи. Время стало подвигаться к рассвету. Сон семейных Макара стал уже не так крепок... То кто-нибудь поворотится, кто вздохнет, кто пробурчит, что-нибудь спросонья.

Слабо забрезжилась зоря. В деревне многие уже стали молотить, и дружные удары цепов доносились от овинов. Вдруг на улице послышался конский топот и промелькнула какая-то тень. Еще минута, и у избы Макара послышалось звонкое, долгое, переливчатое ржанье...

Макар первый услышал это ржанье. Он подумал, что ему это послышалось во сне, и, вскочив, долго сидел на постели с сильно бьющимся сердцем и, позевывая, протирает глаза. Только, было, ум его стал проясняться и он начал было кое-что соображать, как знакомое ржанье послышалось снова.

— Дичок! — вскрикнул Макар и, забыв свою старость, опрометью, бросился из избы.

Семейные его, пробужденные этим возгласом, вскочили с постели и не знали, что делать... Наконец, старуха прежде всех опаматовалась, торопливо отыскала спички, вычеркнула огонь и зажгла лампу.

— Куда это побежал батюшка? — спросила молодуха и, подскочив к окну, стала глядеть в него.

В предрассветном сумраке было видно, как у двора стоял Макар, повиснув на шее Дичка, и, глядя его по спине, лепетал что-то.

— Дичок прибежал! — воскликнула она и опрометью выбежала из избы; вслед за нею бросились и старуха с Федоркой.

Дичок стоял, опустил голову, порывисто дышал, пофыркивал ноздрями и поводил кругом глазами. Он был весь мокрый и с осунувшимися боками; на шее его была завязана в глухую петлю веревка, конец которой, видимо, оборванный, болтался ниже груди и чуть не доставал до колен.

— Откуда ты, милый, голубчик? — захлебываясь от счастья, воскликнула Федорка. — Как тебя это только обог принес-то?

— Да уж не во сне ли это? — усомнилась старуха.

— И то не во сне ли? — согласилась с нею невестка.

— Чего во сне, наяву! — молвил Макар. — Вишь, где-нибудь привязан был, да оторвался... Золото ты мое!

И Макар еще крепче стиснул руками шею Дичка; бабы же не знали, что им делать от радости...

Первый трудный день.

— Эй, Катерина! — слышался у нас за окном голос одного нашего деревенского мужика. — Подойди-ка сюда, у меня к тебе слово есть.

Моя мать сидела у стола и шила мне рубашку. Когда ее позвали, она бросила шитье и подошла к окну.

— Что такое?

— Пашковский Никита велел тебе приезжать навоз возить.

— Когда?

— Послезавтра.

— Ладно... Спасибо, что сказал.

Мужик ушел, а мать вернулась на свое место и взялась опять за шитье. Я лежал в это время на коннике. Когда мать села, я вскочил с своего места и подбежал к ней.

— Мама, зачем нам там навоз возить?

— В отвоз. Мы повозим, а там к нам приедут; так друг другу и пособим.

Я вспомнил, что при этой работе бывают нужны и ребяташки.

— И я с тобой поеду? — спросил я.

— Что тебе там делать?

— Буду лошадь водить...

Мать поглядела на меня лучистым взглядом и радостно засмеялась.

— Ах, ты, карапуз! Тебе и до повода-то не достать.

— Достану, ей-богу, достану! — поспешил уверить я.

Но мать не обращала внимания на мою уверенность и, откусывая нитку, проговорила:

— Будет не дело говорить-то. — А потом задумалась и с досадой проговорила: — Ну, ладно, поедем...

Мне в то время шел девятый год. Я еще ни разу правски не подводил лошадь на работе, и мне очень этого хотелось. Когда мать сказала, что она возьмет меня в Пашково, у меня закружилась голова, и я весь день ходил как в чаду. То же было и на другой день.

Мать справляла, и я не отставал от нее, помогал ей закручивать закрутки и искал чеку.

Когда день прошел, мать сказала мне:

— Ложись скорее спать, а то завтра рано вставать!

Я лег, но мне не скоро удалось уснуть: в моей голове бродили думы о завтрашнем дне, и я никак не мог от них отделаться.

Наступил и этот день. Еще куры сидели на насести, а мать нагнулась ко мне и стала тормошить меня за плечи.

— Ермошка! а, Ермошка! Вставай, поедем!

Я слышал, что меня будят, но мне не хотелось вставать.

— Да поезжай одна, пусть спит себе на здоровье, — раздался другой голос.

Это говорила бабушка. Только она это проговорила, сонный туман в моей голове рассеялся, я сообразил, зачем меня поднимают, и, как Ванька-встанька, вспрыгнул на ноги и пошел умываться.

Я вышел за матерью из избы. У двора стоял запряженный в телегу наш Карька и дремал. Мы влезли на телегу, и мать дернула вожжей.

Одно за другим мы оставили за собой полевое болото, холодный овраг, в котором было очень холодно от росы. Я глядел по сторонам. Роса белела везде, как молоко; трава была подернута ею, как туманом, головки цветов от нее казались седыми. Когда мы въехали в рошу, то с деревьев роса падала каплями.

В лесу около дороги торчали грибы, кое-где, как искорки, краснели ягоды, поднимал свои махры ствольняк, из которого мы делали дудки.

Солнце еще не всходило, но там, где оно должно было всходить, небо было алое.

Проехали лес. Перед нашими глазами открылось сначала Пашковское паровое поле, куда будут возить навоз, потом и само Пашково. Мать подогнала Карьку, но старый Карька только вилянул хвостом.

Когда мы подъехали ко двору дяди Никиты, он выводил лошадь с нарытым возом. Увидав нас, он широко улыбнулся и воскликнул:

— А-а, милости просим! Никак сам друг? Вот это хорошо!

— Как же, — улыбаясь, проговорила мать, — работник вырос, не дома же его держать, пусть едет матери пособлять.

— Что же, сам поохотился?

— Сам.

— Молодец!.. Вот примечай, какая у нас другая лошадь. Встретаться-то будешь вот с этой теткой — узнаешь?

Я взглянул на лошадь и на молодую бабу с подоткну-тым подолом — срывальщицу — и сказал:

— Узнаю.

Мать ушла во двор, а меня, как только я сел, охватила дремота. Я силился бороться с нею, но глаза у меня слипались и ко сну тянуло, как камнем в воду. Я приткнулся к углу и заснул...

— Вот так работник, уж спит! — раздался над моим ухом голос.

Я открыл глаза, — передо мной стоял дядя Никита. Он вывел со двора нарытый воз и, остановившись, глядел на меня.

— Ну, брат, поведем воз. Я тебе на первый раз покажу куда, а там уж один будешь.

Мы повезли воз. Из каждого двора выезжали воза. Приезжие были нарядные, на некоторых лошадях красовалась хорошая сбруя, позвонки.

Воза, скрипя, тянулись к одному концу деревни. У выезда собрался целый обоз. Дело делалось большое и важное, и, держа за повод лошадь, я с гордостью подумывал про себя, что и я спица в этой колеснице.

За деревней мы встретились со срывальщицей.

Срывальщица взяла у нас лошадь с возом, а мы сели в пустую телегу. Дядя Никита показал мне, как садиться и как править лошастью.

— Главное, не зевай. А как заезаешься — либо колесом зацепишь, либо в тын угодишь.

Совсем незаметно подошло время обеда. Перед обедом выпрягли лошадей и отвели их в стадо. Жена дяди Никиты,

тетка Марфа, нарезала селедок, натолкла луку, поставила на стол кисель, и все сели обедать. Мне редко когда приходилось есть так сладко; все мне казалось таким вкусным.

Большие после обеда легли отдыхать, а мне дядя Никита сказал:

— Ну, а ты тоже на боковую аль побегаешь? Поди пока в огород, там крыжовник есть, нарви себе да пройди в стадо, лошадей посмотри.

Нарвавши полный карман зеленого крыжовника, который хрустел на зубах и вязал во рту, я побежал в стадо. Стадо было одно лошадиное. Коровы в это время были дома. Лошади ходили по густой и сочной траве. Было жарко. Кругом лошадей носились слепни, садились на них, лошади отмахивались от них хвостами. Ребята, которые стерегли лошадей, сидели в кучке поодаль и что-то разговаривали. Я решился подойти к ним и примкнуть к кучке; но только я подошел, один мальчик спросил меня:

— Мальчик, ты чей? У кого подводишь?

— У дяди Никиты.

— Под телегу не попал еще?

— Ни разу.

— Молодчина! Вот тебе за это.

Мальчик ударил меня по спине, другие ребяташки захотали. Мне стало обидно, и я хотел дать ему сдачи, но мальчик был большой, мне с ним не справиться бы, и я ему спустил. Другой мальчик, — черненький, в кумачевой рубашке и белом картузе, — сказал:

— Ну, за что ты его? Не тронь! Он умный... Дай-ка мне картуз. — И он, не дожидаясь, стащил с моей головы картуз и спросил: — Он слушается тебя?

— Нет, — сказала я, не понимая, к чему он это спрашивает.

— Нет, так зачем же ты такой носишь? Дай-ка я его закину.

И он размахнулся, собираясь закинуть картуз. Я понял, что попал впросак, и захотел поправиться.

— Слушается!.. — поспешил крикнуть я.

— Коли слушается, то позови его; он к тебе сам придет...

Мальчик далеко кинул мой картуз, я побежал за ним.

Но вот опять заскрипели воза, загремели порожние телеги. Я водил то одну, то другую лошадь и чувствовал,

что у меня сильно жгло подошвы от ходьбы по жесткой земле, а от вожжей драло ладони.

Кончился день. Нашей лошади подставили корзину травы, а нас посадили ужинать. Опять ели лук, селедку, кашу с постным маслом. Ели, как и в обед, с большим удовольствием. Дядя Никита, должно быть, шутя, проговорил:



— Ты не езди домой-то, ночуй здесь, а завтра еще у кого поводишь.

— Он завтра опять приедет; — ответила за меня мать. Мы сели в телегу и поехали.

Уж смеркалось. Мне делалось тяжелее и тяжелее. Уж трудно становилось сидеть, хотелось к чему-нибудь привалиться, но телега была жесткая. Я поневоле сидел, и предомною начал проноситься весь сегодняшний день, — все, что я видел, что слышал. Потом я привалился к матери и за-

крыл глаза, но, закрывши глаза, я все видел воза с навозом и порожние телеги. Вон мальчик настегивает лошадь, и лошадь скачет быстро и где-то скрывается. Вот дядя Никита; он держит на плече вилы, на вилах — мой картуз, а в картузе — лук, да зеленый-зеленый... Кругом кто-то насыпал крыжовнику, по нем ходят и он хрустит... А вот руко- мойник, в нем плавает селедка, брюхо у нее разрезано, но она живая, она шевелит жабрами и пьет воду. Кто же это ее пустил?... Завтра надо будет пустить ее в речку; пойду купаться и пушу.

Что мне представлялось еще, я уже не помню. После мать говорила, что она замертво стащила меня с телеги и унесла на постель. Я проспал до полудня, но и со сном не прошла моя усталость.

Антошка и Журавли.

I.

Только-что начиналась осень. На полях поспевали яровые и кончался озимый сев. После обеда Антошкины отец с матерью поехали, допахивать последние борозды, а Антошке велели, немного спустя, принести им в поле квасу.

Когда время подошло, бабушка наредила Антошке квасу в кувшин и послала его в поле.

Солнце хотя и склонялось к западу, но было ясно и тепло. Антошка, в одной ситцевой рубашке, простоволосый и босиком, пошел через огород и вышел за овины. Ему велели приходить на самую заднюю полосу, к лесу.

До леса от дворов было больше версты. Антошка шел по межникам, по мягким концам уже засеянных и забороненных полос, на которых, как иголки, торчали первые всходы молодой ржи. Везде виднелись люди и шла самая горячая работа. К овинам свозили снопы, веяли ворох вымолоченных зерен; на лугу стелили лен; в яровом те, кто управились с севом, косили жито и овес; работали старый и малый. Но Антошка, чувствуя, как его руку оттягивает тяжелый кувшин, досадовал на то, что его отец с матерью захотели пить. „Вот, тащи им теперь этот кувшинище! Велика охота!“

Он теперь сидел бы где-нибудь с товарищами в горохе или бегал бы по лесу, искал грибы и ел бруснику.

Антошке вообще за это лето стало меньше свободы; ему только пошел восьмой год, а его приучали уж к работам.

В покос он носил завтрак, растрясал и ворошил сено; когда молотили — таскал снопы, вертел и резал пояски для снопов. Часто его посылали и в луга за лошадью.

А дальше что? Да все то же, без конца: будут на косьбу брать, в жнитво дадут серп, в молотьбу поставят с цепом...

Что же это за разнесчастная жизнь!

И Антошке стало жалко себя.

II.

В это время над ним что-то зашумело: не то кто охал, не то похрюкивал.

Антошка поднял голову и увидал, как длинной вереницей, с загнутым концом, над ним неслась стая журавлей. Они вытянули голову и ноги и, мерно размахивая крыльями, летели так низко, что можно было хорошо разглядеть их.

Всю горечь жизни Антошка сразу забыл и с замирающим сердцем стал следить за журавлями.

„Вот если бы у ребят были крылья, сейчас бы поднялся и полетел прочь отсюда!..“ — подумал Антошка и глубоко вздохнул.

Он невольно стал шагать тише, зажмурил глаза и представил, как бы он полетел. Он поднялся бы высоко, высоко: выше елок, что темнели за полем в лесу, выше всякой избы, даже выше церкви. Он бы летал, а внизу работали бы люди, бегали бы ребяташки и девчонки, и кто-нибудь, глядя на него, разинул бы рот. Захотел бы он в город, — полетел бы в город, а то — в Москву. „В ней, говорят, такие диковинки!“ Все бы разглядел, разузнал!..

Антошка уже подходил к пересохшей речке, за которой начинались их полосы,

Перед спуском в овраг Антошка не утерпел, чтобы еще не поглядеть на журавлей. Те перелетели поворот речки и, курлыкая, взвились вверх над холмиком, закружились, как будто намереваясь опуститься. Вереница их изломалась, курлыканье делалось все громче: вот, действительно, они стали опускаться книзу и сели на самой вершине холма. У Антошки замер дух.

„Сели! Пойду, хоть погляжу“, — подумал он и, забыв, куда он шел, выпустил из рук кувшин и бегом пустился по берегу речки.

III.

Он бежал берегом, пока речка текла прямо на полдень, потом она круто поворачивала на восток. Тогда Антошка перебежал ее и вышел на проторенную дорожку. Теперь журавли были уже недалеко от него. Они ходили по полю и клевали что-то на земле.

Антошке захотелось так подкрасться к ним, чтобы они этого не заметили.

Кругом была открытая местность, и только налево тянулся молодой лесок.

Антошка бросился туда.

Долго шел он за кустами, пока не подкрался к журавлям поближе. Потом он опустился на четвереньки и, быстро перебирая руками, пополз к журавлям.

У Антошки замирал дух от волнения, он видел журавлей совсем близко, а те его не замечали, ходили вразброд и что-то подбирали.

Вдруг один из журавлей насторожился, вытянулся, повернул голову туда-сюда и вдруг пронзительно крикнул. Другие журавли вытянулись тоже и ответили на его крик. Первый журавль согнул шею и побежал вперед, остальные бросились за ним. Разбежавшись, журавли взмахнули крыльями и стали подниматься на воздух.

Они поднялись беспорядочной кучей, сверкая на солнце светлым пухом под крыльями, но, поднимаясь выше, они опять вытягивались вереницей и, курлыкая, понеслись дальше.

Антошка вскочил на ноги и глядел на них с жадным любопытством.

И чем дальше улетали журавли, тем Антошке становилось досаднее. Зачем они улетели? Отчего не подпустили его ближе?.. Вот, если бы он журавлем был, он не дичился бы так, всех бы подпускал, опустился бы в деревне, стал бы играть с ребятами, позволил бы себя гладить, маленьких катал бы на спине.

IV.

Когда журавли скрылись из глаз, Антошка повернулся и тихо пошел обратно. И вдруг он вспомнил, где он должен сейчас быть, и куда он попал. Где у него кувшин с квасом?

В испуге бросился он, что есть духу, назад по прежней дорожке.

Он бежал, а душу томил страх, что он придет поздно и его будут бранить за это...

Он пересек на повороте речку и побежал опять по берегу. Он запыхался, ноги его устали, но мальчик подгонял себя. Вот, наконец, и то место, где он бросил кувшин, но где же кувшин?.. Антошка глядел направо, налево, не отрывая глаз от земли, — но кувшина нигде не было. Антошку охватило отчаяние. Что ему теперь делать? Как показаться своим?.. И домой заявиться не слаще: что он скажет бабушке?..

Антошка остановился и не знал, что ему делать. Сердце его давила тяжесть; теперь Антошку взяла досада на самого себя, он заплакал.

V.

Усиленно сморкаясь и утирая слезы, Антошка побрел в кусты, росшие по берегу речки; там он бросился ничком на землю и все продолжал плакать; горечь не проходила, а, кажется, разрасталась, голова кружилась, и ему почудилось, что в земле кто-то плачет. Он притих, сдержал слезы и долго лежал, прислушиваясь, не раздастся ли снова чье-то рыдание, — но и там, в земле, рыданий не слышалось... Антошка замер; горечь понемногу утихла, плакать больше не хотелось, плакать и двигаться. Лежать бы вот так целый век, и ничего ему больше не надо...

Вдруг он услышал над собой какой-то голос и насторожился.

— Эй, мальчуга! — раздался вдруг чей-то голос.

Антошка поднял голову. Перед ним стояла старая, сгорбленная старуха, каких у них в деревне не было; лицо было смуглое, нос крючком. „Верно, это колдунья“, — как-то сразу подумал Антошка.

— Мальчик! а, мальчик! дай попить.

— У меня нет ничего, — сказал Антошка.

— Как нет? А вон кувшин стоит.

Антошка взглянул направо и увидел около себя свой кувшин, синенький, с обмотанной тряпкой ручкой и заткнутый капустным листом. Антошка радостно вскочил и по-

дал кувшин старухе. Та жадно стала пить, а потом подала кувшин обратно мальчику и сказала:

— Ну, вот, спасибо, отвела душеньку! Проси же у меня за это, чего хочешь!



Антошка сейчас же вспомнил, что ему очень хотелось быть журавлем, и сказал:

— Сделай меня журавлем.

— Ну, что ж, изволь. А подойди-ка сюда.

Антошка подошел. Тут старуха взяла его под мышки и сказала:

— Зажмурься.

Антошка зажмурился. Старуха подняла его от земли, раскачала и бросила вверх. Антошка не упал, а полетел. С этой минуты вместо рук у него стали крылья, вместо рубашки он покрылся перьями. Антошке стало жутко и радостно, и он поднялся высоко-высоко.

Ему захотелось взглянуть, где их деревня, захотелось увидеть, где пашут отец с матерью, — но он ничего не видел: кругом него — направо, налево, впереди — стоял густой туман. Только впереди что-то темнело, точно лес. Антошке стало жутко. А ну-ка крылья его устанут, и он упадет с такой вышины?

Он тише замахал уставшими крыльями, изо всей силы раскрыл рот, чтобы крикнуть о помощи, но вместо человеческого голоса послышалось курлыканье. Антошка изумился, — что же это такое? — и стал курлыкать, не переставая...

А силы все более и более оставляли его.

От страха он зажмурил глаза и понесся вниз. Он долго несся, сам не зная куда, и, наконец, со всего размаха ударился о землю, охнул и... проснулся.

VI.

Он лежал в кустах, где заснул. Перед ним стоял бойкий и веселый парень, Михайло Кряжев, и смеялся, глядя на него.

— Как ты сюда попал? — не переставая смеяться, спросил он Антошку.

— У меня кувшин пропал, — пролепетал Антошка, вспоминая свое несчастье.

— Что ж, у тебя из рук его вырвали?

— Нет, я его поставил, а у меня его унесли.

— А ты не бегай за журавлями.

— А ты почему знаешь? — спросил озадаченный Антошка.

— Стало-быть, что знаю... Твоя мать кувшин-то взяла. Она увидала, как ты побежал за журавлями, и взяла кувшин.

— Неужли правда? — вскрикнул обрадованный Антошка и лицо его сразу засияло, и вся забота пропала.

— А какой я сон видел, Михайло! — сказал он и стал рассказывать, что он видел во сне.

— Ишь, какая глупость приснилась! — проговорил Михайло.

— А нешто ребята журавлями не могут сделаться? — спросил разочарованный Антошка.

— Как же это они сделаются?

— А вот так...

— Нельзя этого. Кто кем зародился, тот тем и помрет. Человек — человеком, птица — птицей, зверь — зверем.

— А журавли где рождаются? У нас?

— Нет, далеко отсюда, в холодной стороне. Они там лето живут, там и детей выводят. Прилетят, сядут в гнездо, нанесут яиц и выводят.

— А кто же их кормит?

— Сами. Они в болотах и живут, а там много мух, мошек, ящериц, змей. Вот они все это и глотают.

— А где они гнезда делают?

— На земле или меж кочек, в траве.

— А куда ж они от дождя прячутся?

— Никуда.

— А от холода?

— Если терпимо, то там остаются, а как придет время к зиме, они и улетают. Они, вот, теперь мимо нас летят. Летят они в теплые страны, там они зиму проводят, там тепло, не жарко; а как наступает лето, то они опять в холодные края — так и перелетают.

— А они в городах не бывают?

— Где же!.. Они людей боятся; выбирают сторожевых себе, те караулят, а другие спят. Как кто-нибудь вблизи покажется, сторожевые сейчасстораживаются, потом загогочут, ну сейчас все поднимаются и летят прочь.

— А много их бьют?

— Да порядочно-таки. Они гибнут не от одних людей. Много гибнет их при перелете через моря. Летят они, а под ними вода, — много сот верст. Присесть-то им негде. Гуси или утки — те вон в воду спустятся, а этим плохо. Ну, вот, если островок какой попадется, так присядут, а то и присесть негде. Вот кто послабее, те и гибнут.

Антошка на минуту задумался. Журавлиная жизнь казалась ему уже не такой привлекательной, и они вовсе не такие привлекательные, как он их представлял себе. И у них есть дела, заботы, неприятности и опасности. Но все-таки ему казалась журавлиная жизнь лучше человеческой, и он вслух подумал:

— А все-таки хорошо журавлем быть!

— Это почему?

— А так, полетел бы вот, поглядел на всякие страны... кто как живет.

— Вот что! — воскликнул Михайло. — Тогда самое лучшее человеком быть, — только пожелай, и все узнаешь, все увидишь. Люди ближе всех у бога.

Антошка замолчал. Он не знал, что ему сказать на это. Когда они вошли в деревню и Михайло повернул к себе, Антошка спросил его:

— А как же это можно узнать все да увидеть?

— Учиться надо, — сказал Михайло, — так и узнаешь то, что, может, твоему дедушке с бабушкой и во сне не снилось.

VII.

Когда Антошка вошел в избу, совсем вечерело.

Возвращались с поля мужики и бабы; слышалось мычанье коров подгоняемого к деревне стада. Бабушка пошла отворять ворота, чтобы впустить во двор овец и коров. Антошка вышел за ней и сел на завалинке. Показались в деревне и мать с отцом. Первым шел Карька. Он шагал в гору, покачивая головой, от чего у него на шее поскрипывал хомут, за плугом шла мать. За матерью на Пегашке ехал отец. Антошка, увидавши их, бросился к ним навстречу. Подбежав к матери, он увидел у нее в руке кувшин.

— А ты зачем унесла кувшин?... — засмеялся он.

На усталом и покрытом потом и пылью лице матери заиграла улыбка, и она проговорила:

— Так ты дома, а мы думали — тебя журавли унесли.

Отец с напускной суровостью проговорил:

— Хотел тебе с меру яблок на рынке купить, а теперь не куплю, — потому, избаловался.

— А мне и не нужно. А ты вот что скажи, батя, отдашь ты меня нонче в училище?

— Что тебе там делать?

— Учиться буду.

— А заленишься?

— Нет, ей-богу, нет!

— Ну, что ж, только ты нонче лошадей в ночную сведи! — сказал отец, выпрягая лошадь

— Сведу, обоихведу! — вскрикнул Антошка и бросился помогать отцу собирать сбрую...

Ради забавы.

I.

За выгоном шли пустые, давно выжатые полосы, а за ними начиналась луговина, а дальше, около речки рос редкий ельник. Елки были высокие, необыкновенно толстые и раскидистые. Они одна по одной засыхали каждый год, но мужики не выводили совсем ельника потому, чтобы под ними в ненастье могло спрятаться стадо. В этих елках в веселый осенний денек собрались ребятишки из деревни и готовились разводить костер.

Ребята были всякого возраста; вертелся, как кубарь, румяный белоголовый одиннадцатилетний Юшка Карпов, торчал, как шест, длинный и худой Матюшка, здесь же были бойцы Ванька Рожок и Андрюшка Кузнецов; не обошлось и без Максима Максимыча.

Максим Максимыч был младший сын богатого мужика Бурмистрова. До этой весны он жил в Петербурге, в конторе на заводе, но заболел чахоткой и приехал в деревню лечиться. В деревне за лето он очень поправился и все время возился с ребятишками. Он им рассказывал про Петербург, часто играл на скрипке и пел песни и каждый праздник ходил с ними на речку или в лес. Сегодня он привел их сюда затем, чтобы развести костер.

В то время как ребята стояли и советовались, где им лучше закладывать костер, под одной из самых больших елок сидела старая белка и, найдя молодой белый гриб, завтракала. Она ела с большим аппетитом. Недавно она распустила своих детенышей, которых она принесла в эту весну и няньчилась. С детьми, когда они были малы, ей приходилось не мало хлопот. То она боялась, как бы они

не свалились с елки, не попались бы вороне или, бегая по земле, не зазевались бы и не наскочили бы на пастуховых собак. Но лето прошло благополучно. Детеныши выросли, и теперь каждый устроил себе свое гнездо и обходился без материнских забот. Матери можно было и отдохнуть. И она отдыхала. Ела она с аппетитом еще потому, что ей нужно было запастись жирком на зиму и обрести теплой шерстью.

Белка убрала весь грибок и чувствовала некоторую тяжесть в желудке. Она подумала, что хорошо бы теперь напиться свеженькой водицы и отправиться на елку в свое гнездо. В это время один из ребят заметил ее и крикнул:

— Ребята, векша!

Юшка, побежавший было ломать сучья для костра, оглянулся. Он увидел замершего на одном месте Ваньку Рожка, который стоял, как вкопанный, уставивши глаза на сидевшую на истлевшем игольнике белку.

Белка прижала пушистый хвост к спине и испуганными глазами глядела на него...

В Юшке что-то произошло. Он тотчас же схватил еловую шишку и, наметившись, пустил ее в белку.

Он не попал, но белка, услышав шорох упавшей шишки, моментально встрепелась и, как пуля из ружья, бросилась вперед. Она вскочила на ствол елки и моментально скрылась в чаще ветвей.

— Лови! Лови! — закричали в несколько голосов ребята, сбегались все вместе и стали окружать елку. К елке подошел и Максим Максимыч.

— Что такое? — спросил он.

— Векша.

— Где?

— Вон, на елке!

Ребята подняли головы и стали разглядывать, где скрылась белка. Она была около верхушки, сидела на толстом



суку и, держась передними лапками за ствол повернула голову к ребятам и с тревогою глядела на них. Ребята закричали:

— А-а! О-о! У-у! Ух!

Этот крик испугал белку, и она вспрыгнула еще выше и вдруг, вбежавши на конец сука, ринулась изо всей силы к другой елке и, перелетевши пространство, спряталась на ней. Ребята снова загалдели на нее, в белку полетели шишки и палки. Один сухой сучок, летевший кувырком, чуть не задел ее пушистого рыжего хвоста.

Белке сделалось жутко, и она чувствовала, как громко стучит ее сердце и дрожат жилы в ногах. В когтистых лапках у ней не было обычной твердости... К этому еще прибавлялась тяжесть в желудке и усиливавшаяся жажда. Ей стало очень тяжело, и она подумала:

„И чего им от меня нужно?..“

Она опять стала глядеть вниз. Красные возбужденные рожицы ребят были обращены к ней, и горящие звериной дикостью глаза глядели на нее.

Белке совсем стало страшно. Она чувствовала, что если она попадет к ним в рвкн, то ей от этого станет так же сладко, как если бы ее поймал ястреб.

Она поднялась еще выше и решила сидеть тут под маковкой ели. „Пусть-ка попробуют, достанут меня здесь“, — подумала она.

Она прилипла к верхушке и опять взглянула вниз. Ребята переходили с места на место и все указывали на нее. Но они только указывали. Они даже не кричали и не кидались. Белка стала успокаиваться. Сердечко ее застучало ровнее, и в ногах появилась обычная твердость. Вот только жажда не унималась... Потом ей хотелось подремать. Если бы ребята ушли, она непременно перебралась бы в свое гнездо и вздремнула бы.

Но ребята не уходили. Они стояли и глядели на нее.

Вдруг белка почувствовала, что ствол елки подрагивает. Она встрепелась, взглянула вниз и увидала, как по сучьям елки к ней подбирался Андрюшка. Вот его курчавые волосы и черные горящие глаза. Белку охватил ужас. Она мгновенно отлипла от ствола и прыгнула на другую елку.

Когда она перелетала, опять поднялся галдеж. Ребятишки захлопали в ладоши, закричали, завизжали. Белка с этой

елки полетела на другую, потом на третью, на четвертую. Ей хотелось как можно дальше убежать от этих чудовищ, но они, бешено крича, бежали вслед за нею, кидались шишками, палками, стучали по стволам елок, за которые она цеплялась, а это было очень неприятно. Они догнали ее до крайней елки. Дальше уже не было высоких деревьев, и только чернели кое-где кусты. Белка притаилась и почувствовала, что дело плохо. Она попала в такую опасность, в какой давно не бывала. Что ей теперь делать? Возвращаться назад — все равно не спасешься, а бежать дальше некуда, да и силы не стало...

Перелеты с елки на елку измучили ее совсем. У нее застилали глаза и кружилась голова.

„Куда же мне деваться? Куда же мне деваться? — думала в страшном беспокойстве белка. — Убежать по луговине до другого леса, переждать там ночь, а ночью вернуться в свое гнездо...“ Теперь травы нет, прыгает она мастерски, и если с ними нет собаки, то она может убежать.

Она стала вглядываться, нет ли среди ребят собаки. Кажется, нет. Если бы была, она бы наверное лаяла. „Вот противно лают эти животные“, подумала белка. Когда она слышит лай, в ней всегда поднимается тоска, и ей хочется заткнуть уши. Хуже, чем кричат ребята... Да, нужно попробовать побежать, вот только дух перевести...

II.

А внизу шел совет. Ребятишки стали сомневаться, что они поймут белку. На елке ее не достать, она может забраться на самый верх, а на землю она не спрыгнет. Максим Максимыч говорил, что нужно бросить гонять ее и начинать строить шалаш. Ребята хотели, было, приниматься ломать сучья, вдруг с елки что-то мелькнуло. Белка, распластавшись в воздухе, слетела на землю и, шлепнувшись о луговину, перевернулась, вскочила на ноги и изо всех сил бросилась в сторону от ельника.

Ребята встрепнулись и, у кого что было мочи, загалдели: — Держи! Лови! Пересекай дорогу!..

Всей артелью они понеслись вслед за нею.

Трое, бывших легче других на ногу, настигали ее. Впереди всех несли Юшка, его что-то подхлестывало, и он

напрягал все свои силенки. „А что, если бы ее поймать живую?“ — думал он и прибавлял ходу.

Все кричали в разные голоса, и этот крик действовал на белку убийственно. Теперь он казался ей несколько не лучше лая собаки. Она выбивалась из сил и подумала: „А ну-ка, не убегу?“ Это предположение привело ее в ужас. Она даже сбилась с бега, споткнулась и перекувырнулась. Кувыряясь, она заметила, что ребята совсем близко, и, увидавши неподалеку широкий можжевелевый куст, метнулась к нему. Юшка заметил ее маневр и тоже подбежал к кусту.

Белка бросилась в чашу куста и присела там, дрожа всем телом. Юшка сейчас же лег на брюхо и полез в чашу. Сердце его сильно билось. Он ее сейчас схватит... Сейчас поймает... Вот она!

Он достал рукой до белки и прикоснулся к ее пушистой шерстке. Белка извилась в его руке, оскалила зубы и типнула его за палец. Юшка крикнул от боли, изо всех сил стиснул шею белки и выдернул руку с белкой из кустов. Белка больше не шевелилась.

— Поймал! Поймал! — кричали подбежавшие к Юшке ребяташки.

Они с жадным любопытством глядели на пойманного зверка и на Юшку, который сидел на земле на корточках и, забывши боль от укуса, с удивлением думал, отчего не шевелится белка в его руке.

К толпе подошел и Максим Максимыч. Он взглянул на белку, глаза которой были неподвижны, как у куклы, и спросил:

— Никак мертвая?

— И то издохла! — сказал Юшка, выпуская белку из рук и кладя ее на луговину.

— Дурочка, чего же это она? — проговорил, как будто с сожалением, Андрюшка.

Все испытали какое-то разочарование. Мигом прошло все оживление. Все глядели на белку, на Юшку и, кажется, думали: из-за чего же мы так бесновались?

— Ну, как теперь ее делить, кому она достанется? — сказал Рожок.

— Кто ее схватил, тот пусть и берет, — сказал Андрюшка.

— На кой она мне! — сердито крикнул Юшка и отбросил белку в куст.

Конец Гнедышки.

1.

Старая кобыла Гнедышка с белым пятнышком на лбу и с редкой свалывшейся гривой стояла на дворе у яслей и жевала мелкое зеленое сено. Сено было жесткое. Тупые зубы Гнедышки плохо перетирали его, и она долго валяла клок со стороны на сторону, и все-таки он не пошел ей в горло и вывалился из рта. Гнедышка тяжело вздохнула и завистливо взглянула в хлев около омшаника. Ее последний сын Копчик, здоровый мерин лет 6, часто и громко хрупал, уписывая такое же сено.

Копчик всегда хорошо ел. От этого он был сытый, как наливной огурец, весело держал голову, громко ржал и так бойко бегал, что в бороньбу Гнедышке приходилось шагать из всех сил, чтобы поспеть за ним. Она скоро уставала и начинала тянуться. Хозяин бил ее кнутовищем по бокам и голове. Гнедышка опять шла чуть не бегом и к концу дня так утомлялась, что, когда возвращалась домой, у ней тряслись ноги, и она шаталась, как пьяный мужик.

А было время, когда и она была молода, бойка и здорова. Всю жизнь Гнедышка простояла на одном дворе, своими ногами она истоптала каждую пядь хозяйской земли, принесла ему четырех жеребят. Все они разошлись по другим хозяйствам. Только один Копчик стоит с ней под одной крышей, но и его держат отдельно, потому что он объедает мать. Но это думает хозяин, а Гнедышке кажется, что если бы Копчик стоял с ней вместе, то ей было бы охотней и она лучше бы ела, чем одна.

Отворились ворота, и на дворе стало светлей. Замерзшая земля недавно покрылась слоем снега, и от его белизны

резало глаза. В ворота вошел хозяин в заплатанном полушубке, с обветренным лицом и широкой русой бородой, а с ним маленький гнутый мужичишко с длинным носом, подпоясанный кушаком, с кнутом в руках.

Мужичишка опирался на кнут, как на трость, и говорил:

— Нонче этого добра сколько хошь, год неурожайный, — всяк норовит продать.

— Продают да не таких, — внушительно сказал хозяин. — Ты погляди, какая животина-то! Только кормку маловато, а то я бы весной за нее деньги взял.

Хозяин подошел к Гнедышке, гзаял ее за гриву и подвел к воротам. Гнедышка стала между мужиков и ожидала, что с ней будут делать.

Мужик с кнутом поднял руки, сжал ей ноздри и открыл рот. Поглядевши в зубы и в небо, он вытянул ей язык, потом бросил голову и стал ощупывать крестец и бока.

— Лошадь сильная, куда хошь пойди. Гляди, кость какая! — говорил хозяин.

— Кость-то хорошая, да без годов, — сказал носатый и, качнув головою, чмокнул от сожаления языком.

— А молодая была бы, тогда другая речь!

— Ее только на шкуру.

— Чего на шкуру! Она еще повозит... Я говорю — корму нет, а то бы я сам до весны ее продержал.

— Так сколько же делом-то?

— Красненькую без лишнего.

— Убавляй пару.

— Ей-богу, не могу!

— Ну, рупь.

— С места не сойти — копейки не уступлю! Чаем напою, коль хошь.

— Ну, вели ставить самовар да покупай бутылку на магарычи...

— Полбутылки будет.

— Что полбутылки... по губам мазать.

Хозяин подумал, почесал в затылке.

— Ну, ладно, бей в руку!

Мужики ударили друг друга в руки и перекрестились. Потом надели шапки и пошли в избу, а Гнедышка повернулась и пошла к яслям.

Ей хотелось есть, но она не могла. Что-то недоброе чувялось ей. Гнедышка несколько раз видела, как на двор приходили чужие мужики, брали ее жеребенка, осматривали, ощупывали, так же торговались, били по рукам, а после этого жеребят уводили, и она уже больше никогда их не видала. Теперь проделывалось все это с нею самою, — значит, ее куда-нибудь уведут...

Гнедышке стало жутко. Хотя и плохо здесь жить, но все-таки привычное место.

Она глубоко вздохнула, покосилась в сторону Копчика и задумалась.

II.

Думы у Гнедышки пошли грустные. Ей особенно стало обидно на хозяина. Никогда она не видала от него ничего хорошего. Всегда он был грубый, распоряжался без толку. Он никогда не мог приладить ей как следует хомута: то он велик и, хлябая, жмет плечи, то мал и давит горло. В такой сбруе тяжелей было работать. Потом он никогда не жалел ее, когда у ней были жеребята. В вымени скопится молоко, нужно, чтобы его высосали, а он не останавливает ее во-время на работе. А если она останавливалась сама, то он бил ее.

Бил он ее по чем ни попало: и по животу, и по голове, а иногда разойдется, — хватит между ушей. А между ушами самое нежное место.

Не легко приходилось Гнедышке, когда возили воза. Летом мучили колдобины, а зимой—заносы. Зимой хуже всего ей доставалось, когда она дорогой вспотеет. Хозяин останавливается ее кормить, уйдет в трактир и сидит себе в тепле, а у ней в это время и корм выдует ветром, и самое прохватит до костей, так она, голодная, прозябая, идет, было, дальше, а ему и горя мало.

Хозяйка обходилась с ней мягче. Иногда в горячке и она ударит, но когда горячка проходила, она же и пожалеет, погладит, потреплет по шее, скажет ласковое слово. Детишки же даже и баловали ее: выносили ей хлеба, рвали летом травы, в покос отгоняли слепней. Особенно детишки увивались, когда у ней был жеребенок.

Когда Гнедышка вспомнила про детей и жеребят, грусть ее исчезла, и ей стало немного легче. Она опять вздохнула, но не так уже тяжело, и полезла мордой в ясли. Порывшись, там она нашла клочок дятлины, сжевала его и с удовольствием проглотила сладкую душистую траву.

Хозяин и носатый мужик снова появились на дворе. Они говорили уже громче, лица у них были красные и глаза помутнились. От них шел тот дух, который всегда стоял около трактиров. Этот дух напомнил Гнедышке тяжелые времена, и ей опять стало невесело.

— Обращай и вежи, — говорил хозяин. — Дома держать будешь, спасибо скажешь, а продашь — наживешь... Из рук в руки передашь и то наживешь.

— Ну, что будет, — уклончиво проговорил носатый.

— Ей-богу, наживешь... Нешь, я не знаю. Животина первый сорт... Если бы корму побольше.

— Ты мне уздечку дай.

— Уздечку не дам, а поводок дам... Уздечка денег стоит... Баба, подай веревку...

Вышла хозяйка и подала хозяину обрывок. Поджавши руки под мышки, она стала глядеть, что будет.

Носатый подошел к Гнедышке, накиннул ей на шею веревку и стал завязывать мертвым узлом. Хозяйка взглянула на Гнедышку и проговорила:

— Прощай, родимая! Спасибо тебе за труды. Покормила ты нас. Может, больше тебя не увидим.

— Чего не увидим, увидим еще, — сказал хозяин, но в его тоне не было уверенности.

— Ребята-то в училище, им и проститься не пришлось.

Носатый подвел Гнедышку к воротам. Она шла, опустив голову. И когда поравнялась с хозяйкой, повернула голову и понюхала у хозяйки фартук. У бабы вдруг выступили слезы на глазах; она провела ладонью по морде Гнедышки и сказала сквозь слезы:

— Прощай, прощай.

Хозяин отворил ворота, и носатый вывел Гнедышку на улицу. Там у него стояла повозка с двух колес, запряженная сивой лошастью.

Снег хотя и выпал, но на санях еще ездить было нельзя, и мелкий снег резнул опять Гнедышку в глаза своей белиз-

ною. Она плохо соображала, когда носатый подвел ее к оглобле и стал привязывать веревку к дуге.

Привязавши Гнедышку, носатый подвязал повод у Сивки и стал прощаться с хозяевами.

III.

Они тронулись от двора и поехали по деревенской улице. Земля, посыпанная мелким скрипучим снегом, была жесткая и скользкая. Некованным копытам было трудно на ней держаться. Сивка хотя и был подкован на переда, но тоже оскользнулся.

По деревне они ехали шагом. У дворов стояли, где мужик, где баба и равнодушно глядели, как Гнедышку уводят из деревни навсегда.

Гнедышка шла, понутив голову и поджавши хвост, и чувствовала, что у ней очень тяжело внутри.

Деревня кончилась. Развертывалось поле. Носатый подстегнул Сивку, и та побежала трусцой. Дорога была ребрастая; между ребер попадался ледок, хрустевший под ногами. Гнедышка тоже затрусилась, хотя с большим трудом. В ней все ныло, и в голове стоял тяжелый туман. Она не успевала попадать в ногу с Сивкой, и это озлило носатого. Он вдруг вытянул ее по боку кнутом. Удар был резкий. Гнедышка подняла голову и бросилась вперед. Чтобы выровнять лошадей, носатый хлестнул и Сивку. Двуколка прыгала по дороге, издавая глухой стук, далеко разносившийся по пустынному полю.

Проехали поле и въехали в лес. В лесу дорога пошла еще хуже, прорезы шли глубже, и ребра поднимались выше. Колеса прыгали и стучали, ноги то и дело срывались. Носатого, видимо, злило, что так плохо ехать, и он опять стегнул Сивку. Сивка побежал, но двуколка так запрыгала, что носатому трудно стало сидеть.

— Тппру-у! окаянная!.. — крикнул он злым голосом. — Всю душу вытрясешь.

Лошади пошли медленно. Носатый мало-по-малу успокоился и запел:

Сне-е-ги-и бе-лы-е-е пуши-сты
Па-акрыва-а-ли все па-ля-я,
Одно-о поле не по-окры-ли —
Го-о-ря лю-ю-това ма-аво-о...

Когда он дошел до этого места, то его опять разобрало зло, и он опять вытянул по Сивкиному задү.

Проехали лес, и за полем показалась деревня. Деревня с большой церковью, трактиром и большими домами в несколько окон. Носатый подвернул Сивку к трактиру, привязал его к кормушке и ушел в крыльцо.

Он не дал лошадям никакого корма, и Гнедышка, нагнувшись, стала подбирать раструженное около кормушки сено, а Сивка не мог даже и нагнуться, так как повод у него был подвязан.

Минут через пять носатый вернулся к лошадям. С ним шел толстый трактирщик в масляном пиджаке и с расчесанной надвое русой бородой. Он запрятал руки в карманы пиджака и стал глядеть на Гнедышку.

— Лошадь хоть куда. Около двора пять лет проработает и горя мало. Из-за бедности продали,— говорил носатый.

Трактирщик не вынимал из карманов рук, молча обошел кругом Гнедышку и опять остановился рядом с носатым. Он помолчал с минуту и процедил сквозь зубы:

— А как цена?

— Полторы красных.

— Не подходит.

— Неужто дорого? Верьте богу, сам двенадцать заплатил. Надо что-нибудь нажать-то?

— Не за что.

Сказавши эти слова, трактирщик пошел к себе в трактир, носатый побежал за ним.

— Сколько ж ваша цена будет?

— Говорю тебе, не подходит...

IV.

Вечерело уже, когда носатый снова вышел из трактира. Лошади были голодные и им хотелось пить. Носатый сердито отхлестнул вожжу, которою был привязан Сивка, сел в двуколку и, взмахнув кнутом, крикнул злым голосом:

— Но-о вы, одры!..

Опять застучала двуколка, опять носатый то разгонял лошадей, то останавливал. Теперь он не пел, а разговаривал сам с собою:

„Такой стих нашел. И надо, да не надо... Известно, сам себе хозяин, только это не по-божешки... А уступи тебе из красненькой рубля два, — небось бы подошла... выжига!..“

Уже совсем смерклось, когда они въехали во двор одной господской усадьбы. Дом, большой и высокий, глядел в темноту широкими освещенными окнами. На дворе стоял широкий навес. Носатый направил туда лошадей и крикнул проходившему мужику:

— Паренек! а, паренек! приказчик-то дома?

— Дома.

— Нельзя ль мне его увидеть?

— Ступай в контору.

Носатый привязал лошадей, сунул кнут под дерюгу в двуколку и пошел через двор к дому. Он поднялся на крыльцо и скрылся в двери.

Сивка зажмурил глаза и опустил голову, а Гнедышка долго глядел направо и налево, присматриваясь к окружающему. Все здесь было так непривычно, дико.

— Отвяжи да выводи сюда, — раздался чей-то хрипловатый голос со двора.

Гнедышка вздрогнула и повернула голову. Толстый человек в желтой поддевке из бобрика и с заложенной на затылок шапкой стоял у столба навеса и глядел туда, где стояли лошади.

Носатый быстро подошел к Гнедышке, отвязал веревку и вывел ее из-под навеса. Толстый человек подошел вплоть к Гнедышке и положил ей руку на шею.

Потом он ошупал у ней салазки, провел рукой по спине, тронул паха и стал шупать одну за другой ноги в бабках.

— Да здоровая всем, уж будьте покойны, — уверенно говорил носатый. — Одно — в годах, а то лошади цены бы не было.

— А в приводах-то она ходила?

— Во всем ходила и ходить будет. Послушная, как малое дитя...

— Если в приводе пойдет, то к разу, — у меня теперь молотьба начинается.

— Да уж пойдет, будьте покойны.

— Так сколько же?

- Пятнадцать без лишнего.
- Дорого. Сверх красненькой рубль накинута.
- Верьте совести, сам двенадцать заплатил.
- Ну, ну!
- Ей-богу! С места не сойти, хоть сами спросите.
- Тогда не возьму.
- Ну, хоть тринадцать дайте.
- Целковый еще накинута.
- Своя цена только будет.
- Как хочешь.
- Прибавьте хоть полтинник.
- Довольно.
- Ну, уж бог с вами! Время позднее, — весть некуда.

Куда прикажете поставить?

- Веди в большой скотный, там Никите отдашь.

Носатый повел Гнедышку в глубину усадьбы и подвел к воротам большого высокого сарая. В воротах его встретил рыжий мужик в кафтане и фартуке и спросил:

- Это что?
- Новенькую вам, принимай.
- Куда ж нам такого ора?
- В привод, сказал.

Рыжий взял у носатого веревку, отворил ворота и потянул ее во двор.

- Ну, упрямясь, — небось, не на живодерню идешь!

На столбе посреди скотного двора висел фонарь и освещал весь двор. Пол был земляной и чисто выметенный. Направо и налево шли стойла, где стояли здоровые сытые выездные, каждая отдельно. В глубине стойла кончались, и был отгорожен просторный хлев. В хлеву, вокруг больших яслей, стояли четыре рабочих лошади, худые, лохматые, и ели сено.

Работник откинул жердь, ввел в хлев Гнедышку и стал развязывать аркан. Стегнувши Гнедышку веревкой, он загородил жердь снова и ушел.

Гнедышка подалась вперед, но лошади оторвались от яслей, подняли головы и недружелюбно поглядели на Гнедышку. Гнедышка почувствовала это и отошла в угол.

Коротконогий карий мерин с большой головой и густой гривой подошел к Гнедышке и стал ее нюхать. Обнюхав,

он фыркнул и приложил к затылку уши. Гнедышка поняла, что он ей грозит, и, в свой черед, поджала уши и, поднявши голову, слабо взвизгнула.

Карька оскалил зубы и угрожающе бросился на нее. Гнедышка быстро поворотила к нему зад и приготовилась дать отпор.

На помощь Карьке подошла другая лошадь, Белая, с отвислым брюхом. Она молча поворотилась к Гнедышке задом и лягнула ее левой ногой. Обозленная Гнедышка ответила ей обеими, брыкнула и Карька. Поднялся шум и визг. Работник в фартуке подбежал к лошадям с кнутом и стал их разгонять.

Карька и Белая опять подошли к яслям, а Гнедышка забилась в угол и стояла там, угрюмая, поводя боками. Постояв с минуту, она пугливо взглянула в сторону яслей. У Карьки и Белой злобно горели глаза, и они с каким-то ожесточением хрустели зубами, прожевывая сено. Еще одна лошадь, — чалай, — казалась ко всему равнодушной, а еще одна, тоже гнедая, с облезлой гривой и хвостом и вытертыми боками, ответила на взгляд Гнедышки даже участливо. Гнедышка долго глядела на нее благодарным взглядом и, вздохнув, отвернулась. А Гнедко тоже так внимательно глядела на Гнедышку, что совсем забыла про еду.

V.

Наступила темная ночь. Фонарь был погашен, и человеческим глазом трудно было что-нибудь разглядеть. Лошади же кое-что различали. Гнедышка все стояла в стороне и настороже, так как чужала, что враждебность Карьки и Белой к ней не проходила, и она каждую минуту ждала нового нападения.

Гнедышке хотелось есть и пить, но она не смела подойти к яслям, а где была вода, — она еще не знала. А если лошадей поят на дворе у колодца? Ей придется до утра испытывать эту жажду. О, какая мука!

Она глубоко вздохнула и, по обыкновению, понурила голову. Вдруг она почувствовала, что к ней кто-то подходит. Она быстро подняла голову и насторожилась.

К ней подошел ободранный Гнедой. Он миролюбиво протянул свою морду к самой голове ее, нюхнул и прошептал:

— Не бойся, я тебя не трону... Я узнал тебя... ведь ты моя мать?..

— Что? — спросила изумленная Гнедышка и подняла голову выше.

— Ты—моя мать... Я—твой первый жеребенок, Орёлик. Ты меня не можешь узнать, а верно помнишь.

Гнедышка тихо, но внятно заржала, точно к ней приступили слезы и душили ее.

— Как, ты Орёлик? первый жеребенок? которого продали трех лет? Как мне не помнить, — только как же это ты?..

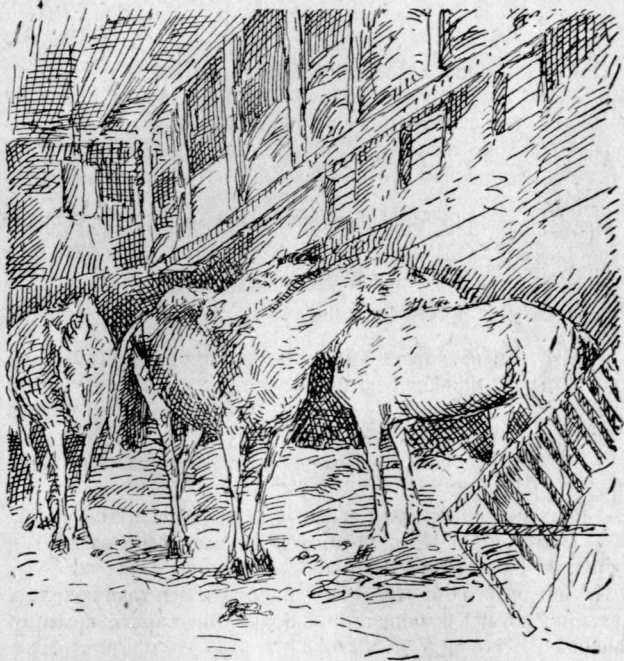
— Что, не похож я на того? — горько усмехнувшись, сказал Орёлик. — Да, не похож. Не таким я был тогда смолоду, — я моложе тебя, а теперь старше и хуже, ободранный, разбитый. Горькая доля мне попалась, мать.

— Что же так? Отчего?

— „На таких хозяев попадал. Первый хозяин был ничего, работал чередом, кормил, заботился обо мне, но у него меня увели. Ночью в ночном обратали и угнали за пятьдесят верст. Продали другому, — тот стал плохо со мной обходиться. Он любил пить, а как напьется — гонял без толку, и не заботился ни поить, ни кормить.

„Один раз он не поил меня целые сутки, а потом приехал домой, пустил к колоде, в колоде была вода, и я выпил ее всю сразу. Мне ударило в ноги, и я свалился. После этого меня стали гонять по улице, разрезали репицу, чтобы выпустить воду, но вода не пошла, а крови вышло много. С тех пор у меня пропали сила и здоровье. Я не мог, по-прежнему ни бегать, ни возить, ноги у меня часто болели, и я валялся в стойле и на дворе. Тогда этот хозяин меня продал. Я попал к какому-то бобылю. На этом месте мне никогда не хватало сена досыта. Не жалели для меня только одного кнута. Тут у меня пошла такая жизнь, что мне хотелось, чтобы меня скорее или бы задрал волк, или же свели на живодерню. Прошлой весной, в половодье, хозяин ехал из города пьяный, переезжал ручей. Я завяз в ручье и не вылезу. Хозяин стал бить меня кну-

том. Он так жестоко бил меня по морде, по бокам, по голове, что я взбесился, рванулся изо всех сил и выскочил, но хозяин остался в мокром снегу, долго барахтался там и простудился. Он вскоре умер. Я отвез его гроб на кладбище, а в вешнего Николу меня продали. Теперь меня



купила одна солдатка. Я обработал ей поле, а осенью меня отвели сюда.

— „А что ж ты делаешь здесь?“

— „На мне возят воду, дрова, хотели пустить в молотилку, но я не успеваю за другими и тянусь. Кажется, меня скоро зарежут“.

Гнедышка тяжело вздохнула и почувствовала, как у ней закружилась голова.

— „Не радостна наша жизнь!“

— „Не радостна. Кому удается хорошо, а то больше, как нам с тобой...“

И всю ночь мать и сын простояли морда в морду, другие лошади уже не подходили к ним.

VI.

На утро пришел рыжий работник, отгородил жердь и, обратавши Гнедышку в старую жесткую узду, повел ее со двора. Он подвел ее к колоде с водой и дал ей пить. Вода была холодная, у Гнедышки ломило зубы, но она не могла забыть жажды и глотала воду, не обращая внимания на зубную боль.

Напившись, Гнедышка вдруг почувствовала, как ей захотелось есть. Она думала, что ее поведут на двор и дадут сена, а ее подвели под навес и хотели надевать хомут. Гнедышка вдруг озлилась и подняла голову, мешая надевать хомут.

— Что, не нравится? Опять тебя на стойло?.. Жирно будет! — грубо крикнул на нее работник и пхнул ее ногой в живот.

Гнедышка взложила уши и взвизгнула.

— Повизжи у меня, я-те покажу, как визжать! — опять крикнул работник.

Он потянул ее за повод. Гнедышка стала пятиться задом.

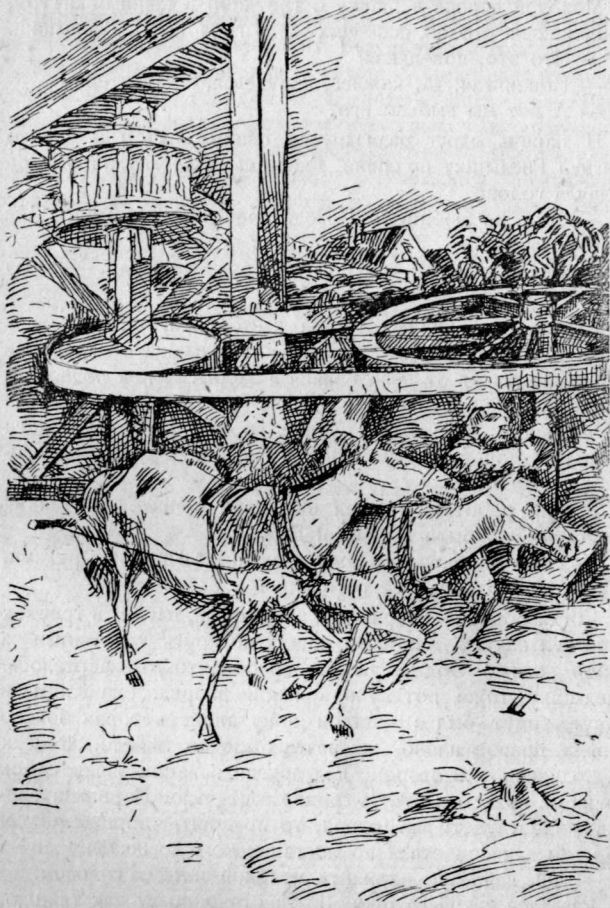
— Стой, чорт! Чего пятишься-то, все равно надену! — И он опять ударил ее в грудь.

Несмотря на сопротивление, работник все-таки надел на Гнедышку хомут и повел ее к большому сараю, крытому дранкой.

Когда он вел ее в сарай, Гнедышка почувствовала, как здесь вкусно пахло овсяными снопами. Слюна наполнила ей полный рот. Ей так захотелось есть, что она не выдержала и схватила на ходу клок ярового. Работник вырвал у ней клок и ударил ее кулаком по губам.

— Не наешься, хамка, все бы тебе есть!

Он ввел ее под особый навес, где был устроен огромный чугунный столб. Из него шли в разные стороны три длинных деревянных водила. К водилам были прицеплены коромысла



с веревочными гужами. К одному коромыслу подвели Гнедышку и стали вхлестывать гужевые клепки.

Молодой парень в шапке с треухами и длинным кнутом, сидевший на столбе, соскочил с него и подошел к Гнедышке.

— Что это, новенькая?

— Новенькая, да, кажись, непутевая, с характером.

— А вот мы выбьем его.

И парень вдруг размахнулся своим кнутом и звонко стегнул Гнедышку по спине. Гнедышка вздрогнула и быстро подняла голову.

— А-а, не любишь?.. погоди, еще не то увидишь. Мы тебе покажем!

— Погляди за ней, а я пойду — других приведу, — сказал рыжий и вышел из-под навеса.

Парень в треухах отошел к сторонке, сел опять на столб и стал наворачивать цыгарку. Гнедышка стояла, и ее разбирала дрожь от негодования и злобы. В ней поднялось такое чувство горечи, какого она никогда не испытывала до сих пор. Вся голова у нее горела, и передние ноги сводило судорогой. Зубы у ней стучали, и ей хотелось кого-нибудь укусить.

Рыжий работник привел еще двух лошадей и стал их впрягать. Это были Карька и Белая.

Под навес собирались люди. Одни были с пустыми руками, другие с граблями. Все готовились к работе.

Когда лошадей запрягли и заарканили, парень в треухах хлестнул кнутом, и лошади пошли по кругу и потянули за собой водила. Под чугунным столбом что-то завертелось. Гнедышку тоже потянуло арканом вперед, она влегла в хомут, хомут был с жесткой хомутиной, которая больно давила правое плечо, но везти было не тяжело. Лошади расходились, а в стороне под другим навесом завертелось большое колесо и что-то громко застучало. Парень в треухах хлестнул то по одной, то по другой лошади. Люди под тем навесом стали по местам и чего-то ждали.

— Эй, начинай! — крикнул молодой зычным голосом.

Раздался какой-то шум. Везти стало сразу так тяжело, что Гнедышка осадилась назад. Что-то треснуло. Жгучий удар кнута врезался ей в бок, и она рванулась в сторону. Раздался новый треск. Шум умолк.

— Это что же ты? — весь покраснев, воскликнул парень в треухе, и удар за ударом посыпались на Гнедышку.

Гнедышка встала на дыбы и бросилась вперед. Веревочные гужи и аркан оборвались, она встала боком, и вдруг на нее налетело то водило, к которому было прихлестнуто ее коромысло, и ударило ее в левую заднюю ногу. Гнедышка почувствовала страшную боль, упала и дико заржала.

Поднялась тревога. Лошади, наскочив на свалившуюся Гнедышку, сами остановились. К Гнедышке подскочили люди, а она билась и дико ржала, вытягивая шею. Левая задняя нога была у ней переломлена. Парень в треухах пхнул ее ногой. Его остановил тот человек, который крикнул: „Эй, начинай!“

Взглянувши на Гнедышку, он сказал кому-то:

— Ступай, скажи приказчику.

Гнедышка лежала, упершись мордой в землю. Глаза ее выражали страдание и боль, бока ее круто вздымались, и переломленная нога уродливо торчала, откинувшись в сторону. Кто-то, потрогавши Гнедышку, жалостно сказал:

— Эх, бедная!

— Бедная, да не медная, — сказал парень в треухах и засмеялся.

Пришел вчерашний толстый человек в желтой поддевке, поглядел на Гнедышку и сердито крикнул:

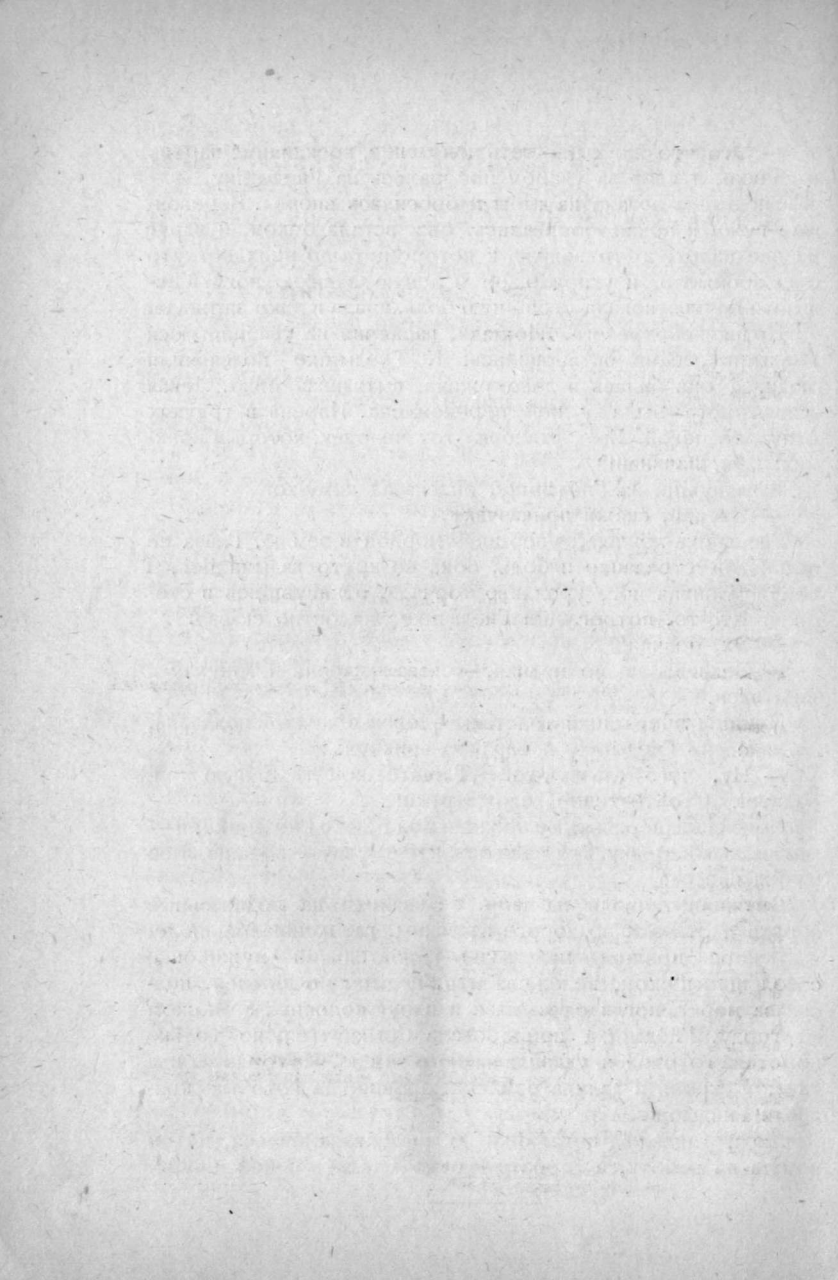
— Ну, чего глазеть-то!.. Тащите вон да другую приводите!.. Стойте теперь сложа руки!..

Появилась веревка. Ее продели под брюхо Гнедышки, и — кто за эту веревку, кто за хвост, кто за узду — потащили ее из-под навеса.

Вытащив лошадь на двор, ее ввалили на подвезенные дровни и отвезли по дороге за осины, где начиналось поле.

Вскоре пришел маленький горбатенький мужичонко с большим ножом, велел свалить Гнедышку с дровней, поднял за морду, поглядел в глаза и вдруг полоснул ее ножом по горлу. Гнедышка попробовала брыкнуться, но только помотала головой и ударилась ею о землю. Из горла забила ключом кровь и залила землю и дровни, на которых привезли Гнедышку.

Люди глядели, пока она не перестала биться, потом пошли на работу, а горбатый стал снимать с нее шкуру.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Главное Управление, Москва.

Серия детской литературы.

Имеется в продаже:

Жуковский — „Спящая царевна“.

Каррин — „Ворона и рак“.

„ — „Бж, ворона и рак“.

„ — „Кот, козел и баран“.

„ — „Колобок“.

„ — „Кот-Самсон“.

„ — „Лисица и заяц“.

„ — „Мена“.

„ — „Про петуха, кота и лисицу“.

„ — „Снегурочка“.

„ — „Хромая уточка“.

„ — „Сказки-картинки“.

Киплинг — „Вот так сказки“.

Каринцев — „История одной жизни“ (Томас Альва Эдиссон).

„ — „Лутошенька“. Сказка.

Лондон — „Дикая сила“.

„ — „Тюрьма“.

Мамин-Сибиряк — Рассказы для детей. Сборник I.

„ — „Малыши“. Сборник рассказов и стихов. под редакцией
Насимовича. Кн. I, II и III.

Пушкин — „Сказка о рыбаке и рыбке“.

„ — „Сказка о царе Салтане“.

„ — „Сказка о золотом петушке“.

Свирский — „Рыжик“. Из жизни бродяги.

„ — „Черные люди“.

Серафимович — „Юные труженики“.

„ — „По земле“.

„ — „Никита-Кожмяка“. Сказка.

Сурожский — „Ветка полыни“.

Станюкович — „Морские рассказы“.

Томпсон-Сэтон — „Маленький Рольф“.

„Трень-брень-горох“. Народные песенки.

Фич-Перкинс — „Маленькие японцы“.

„ — „Маленькие голландцы“.

„Хорошо да худо“. Народная сказка.

Шмелев — „Служители правды“.

Езерский — „Улыбка солнца“.

И. Касаткин — „Тяпа“.

Вагнер — „Сказки кота Мурлыки“.

Каринцев — „Как построили железную дорогу“ (Стефенсон).

Кроткий — „Шиворот на выворот“. „Веселые стихи про Василины грехи“.

Манассеина — „Своей тропинкой“. Рассказы.

Рагоза — „Похождения Чернушки“.

Семенов — „Из жизни Макарки“.

Сент-Илер — „Сказка про сову“.

Томпсон-Сэтон — „Жизнь серого медведя“.

„ — „Лобо рваное ушко“.

Печатаются и в ближайшее время выйдут в свет:

- Аллегро — „Стихотворения и сказки“.
Алтаев — „Ян из Троцнова“.
Андерсен — „Сказки для детей“. Вып. I, II и III.
„ — „Стойкий оловянный солдатик“.
„ — „Принцесса на горошине“.
Венгров — „Зверушки“.
Гримм — „Сказки“.
Детский альманах „Крылья“.
„ — „Герой прерий“.
„ — „Колумб и Магеллан“.
Казьмин — „Замухрышка“.
Крылов — „Слон и Моська“.
Киплинг — „Джунгли“.
„ — „Смелые мореплаватели“.
Лондон — „Киш“ и др. рассказы для юных читателей.
„ — Путешествие на „Ослепительном“.
Насимович — „Заплетися плетень“. Сказки.
Некрасов — Избранные произведения, под ред. Н. Ашукина.
Плещеев — Избранные стихотворения, под. ред. П. Зайцева.
„Русские песни“. Вып. I и II; под. ред. Шнейдера.
„Русские сказки“, под. ред. Ю. Соколова. Вып. I, II, III.
„ — „Коза“.
„ — „Морозко“.
Семенов — „Машка-Домашка“.
Толстой Л. — „Три медведя и золотая головка“.
Твен М. — „Приключения Тома“.
Черный Саша — „Живая азбука“.
Шмелев — „На морском берегу“.
„ — „В новую жизнь“.
„ — „Рваный барин“.
„ — „Они и мы“.

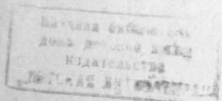
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

МОСКВА. Ильинка, Биржевая площ. уг., Богооявленского пер., № 4.
Телефоны: 1-57-57, 47-35.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА:

- 1) Советская площ. под гостиницей „Дрезден“, 2) Моховая, 17, 3) Б. Никитская, 13 (рядом с Консерваторией), 4) Никольская, 3.

255366



50к



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ☐ МОСКВА ☐ 1923